

В. ПИРОЖКОВА

Коррупция гражданских добродетелей

Тоталитарный режим вынужден искать «врагов» там, где ни о каких сознательных врагах не может быть и речи. Чтобы принудить человека нести ярмо неестественной и не соответствующей его природе системы, режим должен хотя бы время от времени прибегать к массовому террору. Преследованию подвергаются люди, которые в глазах каждого нормально думающего и чувствующего человека ни в чем не виноваты. Это вызывает неестественное восприятие и отношение людей друг к другу, отличающееся от такового в правовом государстве. Так как людям свойственно ошибаться, то в любом, самом справедливом правовом государстве, бывают, конечно, судебные ошибки. Но они являются исключением, тем более, что в правовом государстве существует правило: в случае сомнения в пользу обвиняемого. Иными словами, осужден может быть только человек, в вине которого нет ни малейшего сомнения. Причем в правовом государстве осуждаются уголовные преступления и шпионаж. Иные политические мнения и философские или религиозные убеждения, критика правительства и тому подобное никакому преследованию и наказанию, конечно, не подвергается. Поэтому каждый гражданин правового государства может с полным основанием предположить, что человек, разыскиваемый полицией и пытающийся бежать, скажем, через границу в другое государство, является уголовным преступником. В Западной Европе, например, человеку не нужно даже визы, чтобы поехать из одного государства в другое, достаточно паспорта или только личного удостоверения. Поэтому, например, поставой на границе может с чистой совестью задержать человека, пытающегося нелегально перейти границу между двумя свободными государствами. Этот человек по всей вероятности уголовный преступник. Но если окажется, что он только безвредный чудака, то полиция, проверив его, отпустит.

Совсем иное положение поставого, стоящего на границе тоталитарного государства. Представим себе в прошлом на границе гитлеровской Германии одинокого поставого, который видит еврея, пытающегося тайно перейти границу. Поскольку Гитлер преследовал всех евреев, только потому что они родились евреями, поставому на границе должно было быть ясно, что этот человек не виновен ни в каком преступлении, а пытается бежать, потому что он родился «не от тех родителей». Как следует поступать этому поставому? Он может задержать беженца. Это будет корректный и согласный с его служебными обязанностями поступок, но таким путем он станет соучастником убийства невинного человека. В послевоенной Германии велось много процессов, когда судьи недоумевали, можно ли наказать бывшего солдата или другого подчиненного человека за то, что он исполнил приказ. Но с другой стороны, исполнив этот приказ, человек становился тем самым соучастником преступления. Тоталитарный режим ставит человека иногда в очень тяжелые ситуации, когда по нарушению его служебного долга. Так понятие долга человек не знает, на что решиться. Рассматриваемый нами поставой мог пропустить беженца. Это был бы в высшей

степени человеческий, высоко моральный и даже героический поступок, так как поставой рисковал бы сам: кто-нибудь мог заметить и донести. Но это было бы одновременно в тоталитарном режиме раздваивается. Человеческий долг, долг помочь невинно преследуемому, идет вразрез со служебным долгом. В нормальном правовом государстве такого конфликта как правило не возникает. В тоталитарном режиме этот конфликт является ежедневной практикой. В Советском Союзе сотни тысяч больших и малых начальников концлагерей являются соучастниками преступления над невинными. И в то же время многие из них даже горды тем, что они выполняют государственный долг, как писал один из них Солженицыну после выхода в свет его повести «Один день Ивана Денисовича». Не менее гордо он еще добавил: «Имя нам легион». Солженицын комментировал: «Это верно, только влопыхах не проверили цитату по Евангелию, легион-то чертей». Только тоталитарный режим создает в массовом масштабе такое неестественное положение и такую извращенную психологию, когда человек гордится исполнением своего служебного долга, тогда как этот служебный долг на самом деле является тяжким преступлением.

Но вернемся опять к рассматриваемому нами случаю одинокого поставого на границе. Мы разобрали две, открывающиеся для него возможности, но есть еще и третья: он может потребовать у беженца деньги или какую-нибудь ценную вещь, и, если беженец сможет дать ему взятку, пропустить его через границу и дать ему возможность спастись. Это был бы низкий, аморальный поступок, но всякий беженец предпочел бы лучше расстаться с какой-нибудь материальной ценностью, чем с жизнью. Невинный человек, преследуемый тоталитарным режимом, предпочел бы натолкнуться на границе лучше на взяточника, чем на честного исполнителя своего служебного долга.

Мы взяли часового на границе гитлеровской Германии, но мы уже видели на примере начальства и конвоя концлагерей, что в коммунистических странах такое же положение. Там существует такой же конфликт между совестью и служебным долгом. Часовой на границе любого коммунистического государства может попасть в такое же положение, потому что и из коммунистических стран бегут большей частью не преступники, диверсанты и шпионы, как уверяет коммунистическая пропаганда, а невинно преследуемые или отчаявшиеся люди. Само по себе желание переменить местожительство и переехать в другую страну ни в одном нормальном государстве преступлением не считается. Но тоталитарное государство окружает свой коллектив непроницаемой стеной. Немецкие коммунисты даже построили стену через Берлин, чтобы не выпустить никого из рамок своей системы. Часовые на Берлинской стене ежедневно сталкиваются с той проблемой, о которой мы говорили: как им поступить, стрелять в беженца, захватить его и выдать властям или постараться незаметно пропустить. Никакое государство не имеет права требовать от своих граждан совершения преступления над не-

винными людьми. Но тоталитарное государство требует этого, и тем самым превращает наизнанку обычные представления о гражданской добродетели.

На границе, в тюрьмах, в концлагере часовые, конвоиры и начальство особенно отчетливо поставлены перед проблемой слушаться ли начальства или своей совести. Но и не только в таких крайних случаях перед гражданами тоталитарных государств все время встает вопрос, совместно ли корректное исполнение служебного долга с совестью. Тоталитарная диктатура старается опутать своими щупальцами всю жизнь, и все переделать по-своему. Учителя, особенно если они преподают какой-нибудь гуманитарный предмет, должны внушать ученикам то, что предписано идеологией. Своих собственных мыслей и оценок они не смеют высказать. Масса крупных и мелких служащих, корректно и бездумно выполняющая частью жестокие, частью нелепые постановления диктатуры или будучи передатчиками этих распоряжений, помогают ту же затягивать петлю на шею народа. Честный и ни над чем не задумывающийся, идеологически более или менее нейтральный исполнитель является опорой режима. Без такого исполнителя, только при помощи своих немногих убежденных сторонников такой режим долго не продержался бы. Поэтому нередко просто небрежность или даже халатность в исполнении обязанностей ведет в тоталитарном режиме к положительным результатам. Учителя, отказывающиеся делать заранее планы уроков и давать их на предварительный контроль, создают хоть небольшую отдушину для самостоятельного творчества, хотя они часто делают это не из сознательного сопротивления, а просто по небрежности. Служащие милиции, затягивающие по халатности месяцами регистрацию новоприбывших, давали часто возможность выжить людям, единственная «вина» которых состояла в том, что они происходили «не от тех родителей». Без небрежности по отношению к служебным обязанностям, без бесчисленных человеческих слабостей и упущений, жизнь в тоталитарных режимах была бы совершенно невыносимой. Так нередко обычные

гражданские добродетели превращаются в свою противоположность и служат инструментом убийства и угнетения. А то, что в обычном понимании считается недостатком, создает отдушину для жизни.

Но ведь большинство людей работает для страны, для народа, а не для режима. Может ли крестьянин перестать сеять хлеб? Это вызвало бы голод в стране. Или рабочий перестать производить необходимые предметы потребления, машины, строить дома? Как ни старается тоталитарный режим наложить на все свою руку, но и в тоталитарной диктатуре жизнь состоит из пестрой мозаики труда и поступков, таких, которые режим может использовать непосредственно для собственного укрепления, и таких, которые необходимы для поддержания жизни и должны быть выполнены, несмотря на все отвращение к режиму, чтобы избавить, например, народ от голода. Не только крестьяне и рабочие, но и служащие исполняют свой долг не только по отношению к режиму и властям, но и по отношению к своему народу. И в этом исполнении долга перед народом нужны все прежние гражданские добродетели, честность, исполнительность, добросовестность.

Как отделить одно от другого? Как сделать так, чтобы служить только народу, а не режиму? Это чрезвычайно трудно сделать. Многие становятся невинно виноватыми. Есть и действительно виноватые. Мы уже говорили о начальниках и страже в концлагерях, о многих партийцах, гордящихся точным исполнением своего бесчеловечного долга службы. Но есть много таких, кто становится виноват по неизбежности. Их нельзя ни винить, ни судить. Виноват режим, поставивший их в такую судьбоносную ситуацию.

И вот в этом тяжелом, необычном положении, когда выявляется относительность многих общепринятых гражданских добродетелей, незыблительным остается только истинное добро, не связанное ни с какой формальной регламентацией. Когда люди думают, действуют и стараются помочь человеку как таковому. Это то, что философ Владимир Соловьев называл «вдохновением добра».

В. ЗЕНЬКОВСКИЙ

Идея христианской философии

Ниже мы помещаем вводную главу из первого тома книги профессора протоиерея Василия Васильевича Зеньковского «Основы христианской философии»^{*}).

В. В. Зеньковский родился в 1881 г. в семье педагогов. Он окончил естественный и историко-филологический факультеты Киевского университета, после чего остался при университете профессорским стипендиатом по кафедре философии. В 1912 г., после сдачи магистерского экзамена, он стал доцентом Киевского университета по философии. В 1915 г., после защиты магистерской диссертации, он был назначен экстраординарным профессором Киевского университета.

В декабре 1919 г. В. В. Зеньковский покинул Россию и поселился сначала в Белграде, где читал лекции на философском и богословском факультетах. С 1923 г. он находился в Праге, где читал лекции в русском Высшем педагогическом институте и возглавлял Педагогическое бюро по делам русской зарубежной школы. С 1927 г. он стал профессором Русского богословского института в Париже. С 1923 г. до своей кончины в Париже 5 августа 1962 г. он был бессменным председателем Русского Студенческого Христианского Движения (РСХД).

В. В. Зеньковский — автор многих научных трудов. Известен его капитальный труд: «История русской философии», Париж, издат. YMCA-Press, т. I, 1948, 470 стр.; т. II, 1950, 480 стр.

^{*} Проф. прот. В. Зеньковский. Основы христианской философии. Том I. христианское учение о познании. Издат. «Посев», Франкфурт-на-Майне, 1960, 151 стр.

1. Христианский мир унаследовал от античности идею философии, как системы, обнимающей все формы мыслительной работы, все сферы духовной жизни. Но сама античная философия — как это было много раз показано — была в то же время и своеобразным богословием, конечно, соответственно религиозному сознанию античности¹⁾. В свое время она выросла из мифологем, созданных религиозным сознанием, да и закончилась у Плотина и его последователей построениями, в которых философские идеи неотделимы от богословия. Но для христианского сознания, религиозный мир которого был глубоко отличен от античной религиозности, построения античности были только философией, можно сказать «чистой философией», построением «чистого разума». Раннее христианство было к тому же невосприимчиво к религиозному содержанию античной мысли и лишь постепенно, используя ее построения в апологетических целях, приобщалось к богословской стороне ее. В известном смысле и ныне еще мы недостаточно чувствуем религиозную сторону в античной философии, а отчасти и не хотим ее чувствовать: идея «чистой философии» есть, ведь, излюбленная фикция у мыслителей нового времени, которые нередко переносят эту фикцию и в античный мир.

¹⁾ См. особенно книгу W. Jaeger «Die Theologie der frühen griechischen Denker». Stuttgart 1953.

Конечно, можно, и даже с большим успехом, рассматривать все, что оставила нам античная мысль, с точки зрения именно «чистой философии», но, повторяю, исторически это неверно. Но тут дело вовсе и не в истории — идея «чистой» философии есть вообще *выдумка и создание мыслителей христианской эпохи* — и сама эта выдумка, эта фиктивная идея не случайна именно для христианской эпохи. Логос, это заветное имя для христианского сознания — сам открывает путь для «чистой» мысли, сам способствует, в известных границах, отделению мысли от живой связи с бытием. К тому же, ничто так не отрывает нас от этой связи с бытием, как слово — а за словом следует и то, чем оно живо, т. е. разум. Да и не один только разум, но и другие силы духа, по мере созревания, обнаруживают тенденцию к самообособлению, но в том-то и состоит задача христианской культуры, чтобы охранять связь этих сфер творчества с целостным бытием.

Христианство есть живая и неразложимая целостность, оно не может быть иным, но отдельные сферы творчества в своем развитии могут выходить за его пределы и затем отстаивать свою «автономию», если не сумеют найти законные пути своего движения внутри Церкви. Именно в силу этого — и только этого — развитие философского творчества у христианских народов, когда оно натолкнулось на затруднения (частью реальные, частью мнимые, как раз и пошло путем «автономии»). Идея «чистой» философии, строяемой «естественным разумом», фактически родилась, как сейчас увидим, в недрах религиозного сознания, но поддержанная различными, чисто историческими условиями, она окрепла и утвердилась, как нечто действительно «естественное» и «само собой разумеющееся».

2. Это произошло на Западе, — христианский Восток неповинен в этом трагическом и двусмысленном факте. Конечно, пока Церковь была еще «всем», т. е. охватывала все стороны жизни, ни одна сфера творчества не могла отделиться от Церкви. Наоборот, сама Церковь в это время вбирала в себя ценные стороны античной культуры, в том числе и античной философии. Однако, такое положение длилось лишь до тех пор, пока Церковь не была связана со сферой государства, сферой общественно-политической жизни. Но уже в IV веке положение совершенно изменилось — Церковь и «мир», Церковь и государство оказались как бы в одном плане, началось «сотрудничество» и взаимодействие двух сфер, до того времени живших раздельно. Пути Христианского Востока оказались при этом совсем иными, чем пути Христианского Запада. На Востоке «сотрудничество» Церкви и государства дало начало так называемой «симфонии» (по крайней мере в идеале, — фактически государство все же было доминирующим). На этой почве развилось целое учение о церковной функции верховной власти, — учение, которое создала сама же Церковь и религиозное осмысление которого, возвышая светскую власть, создавало иллюзию «свободного сотрудничества». Это, конечно, вело фактически к обмирщению Церкви, нередко приводило к настоящему сервилизму. Но зато во внутреннем своем сознании Церковь продолжала быть тем, чем была всегда, — в частности в понимании мира и человека.

Церковь охотно вбирала в себя все ценное, что находила она в античной культуре. Наследие греческой науки и философии использовались Церковью без колебаний, но оно при этом своеобразно «воцерковлялось» (хотя бы и внешне). Как типичен в этом отношении «Шестоднев» св. Василия Великого! Элементы античного знания «воцерковлялись» здесь без колебаний, покрывались авторитетом церковности.

Быть может, еще типичнее то, как св. Григорий Нисский или автор *Corpus Aegoragium* использовали построения неоплатонизма... Так или иначе, здесь чистое бого-

словие не отделялось от научной и философской мысли: богословие было не только *над* всем, но оно оставалось единственной верховной инстанцией: не нарушая свободы мысли, оно ее освещало и освящало, как освещает и освящает всецелая истина все частные истины.

Все слагалось иначе на Западе. И здесь соприкосновение с «миром» и государством, рецепция античности вели к обмирщению церковного сознания; однако, под куполом Церкви собирались течения и тенденции, внутренне чуждые христианству, и все это (как и на Востоке), хотя бы и чисто внешне, «воцерковлялось». О системе, напр., Скота Эриугены (IX век) трудно было бы сказать, что это только «чистая» философия (каковой она уже была фактически); с не меньшим успехом она должна была войти в историю западного богословия. Новым, однако, было то на Западе, — и это с полной ясностью выступает лишь в XII веке (когда подлинные сочинения Аристотеля стали, наконец, доступны Западу, благодаря переводу на латинский язык) — новым было то, что античная наука уже не могла ныне «воцерковляться» с той легкостью, как это было до XII века. В построениях Аристотеля, к восприятию и оценке которых западная мысль была достаточно подготовлена, открылся совсем иной взгляд на мир, чем он до этого слагался у западных мыслителей. Нужно было или *размежеваться*, или «воцерковить» все, но упрощенное «воцерковление» было уже невозможно, да в нем *вовсе и не нуждалось* то понимание мира, охватывавшее все сферы бытия, какое было у Аристотеля. Это понимание мира созрело вне Откровения, оно и не вмещало его в себя, — пути веры и знания тут явно начинали расходиться. Античные построения стали толковаться, как построения «естественного разума», не знающего Откровения.

Этот гносеологический дуализм (знания и веры) начал принимать столь острые формы, что его нельзя было уже затушевать. С одной стороны, знания, которые западные мыслители находили у Аристотеля, так импонировали им, что отвергнуть их по одному тому, что все они стояли вне учений христианства, было невозможно. Но невозможным было, с другой стороны, и простое, безоговорочное приятие системы Аристотеля — и отныне вопрос о соотношении христианского и античного (Аристотелевского) мировоззрения стал уже на очереди, как неотвратимый и основной вопрос церковного сознания на Западе²⁾.

Не надо забывать, что такой, например, кардинальный вопрос, как вопрос об индивидуальном бессмертии, не имел у Аристотеля ясного и категорического решения и допускал решение, отвергающее индивидуальное бессмертие (ср. толкования Аверроеса, Сигера Брабантского).

Не менее тревожным было учение Аристотеля о вечности или безначальности мира. Отсюда возникла грандиозная задача нового построения, в котором учения «естественного разума», совершенно неотразимые, как казалось тогда, нашли бы свое место *рядом* с христианской системой. Так родилась идея, что единственный путь для этого может состоять лишь в том, чтобы *отделить чисто философские концепции от богословия*, подчиненного основоположениям христианской веры. На этот путь и стал со всей определенностью уже Альберт Великий, но окончательно задача эта была решена только Фомой Аквинатом, построение которого удовлетворяло требованиям времени, но зато оказались столь роковыми для всей христианской культуры Запада.

Войдем в некоторые подробности.

²⁾ Не забудем, что в Византии аристотелизм очень редко принимался в целом, но всегда смягчался (в целом ряде пунктов) прививкой платонизма или неоплатонизма. Это спасало положение.

3. Фома Аквинат установил то «равновесие» между верой и знанием, которого требовала и ждала его эпоха, — он просто уступил знанию (философии) всю территорию того, что может быть познаваемо «естественным разумом». Этот *lumen naturale rationis* признается здесь достаточным для понимания мира, — и нечего удивляться, что Аквинат видел именно в Аристотеле вершину «естественного разума». Как известно, он никогда не называет Аристотеля по имени в своей «*Summa Theologiae*», а просто именует его «*Philosophus*». Откровение только дополняет то, что открывается нам через *lumen naturale rationis* («*Gratio non tollit naturam*», гласит известное изречение, «*sed perficit*»). Это учение о *самодостаточности* «естественного разума» в познании мира и человека есть в сущности новое, чуждое основным течениям даже античной мысли понятие: возвышая Откровение над «естественным разумом», Аквинат в то же время *рассекает* единую целостность познавательного процесса³⁾. Она была таковой у греков, т. е., конечно, у самых значительных мыслителей Греции; она была таковой и у христианских богословов ранних и поздних, — до XIII века. Аквинат же своим решением вышел уже на новый путь и тем надолго разрешил для Запада трудную тему о соотношении внерелигиозного знания и веры, ибо создал возможность мирного их соотношения наподобие соотношения двух этажей здания — есть этаж «естественного» (внерелигиозного) познания, но есть и следующий этаж религиозного познания.

Это открыло новый путь для чисто философского творчества, которое не просто стало обходиться в дальнейшем без религиозного обоснования («верхнего этажа»), но постепенно вышло на путь полной автономии, *возводило отныне в принцип*. Потому и в наши дни последовательные томисты отвергают понятие «христианской философии» в точном смысле слова. Строго говоря, пишет Сертияж (один из самых компетентных томистов последнего времени), не может быть христианской философии, как не может быть христианского учения о природе, христианской экономики, политики, литературы⁴⁾. Те же мысли еще более настойчиво развивает известный историк Жильсон: нет христианского разума, утверждает он, но может быть христианское употребление разума... понятие христианской философии не имеет больше смысла, чем понятие христианской физики или математики⁵⁾.

Конечно, и Сертияж и Жильсон просто верны тому разделению «естественного разума» и Откровения, философии и богословия, которое с такой ясностью и последовательностью установил Фома Аквинат. То, что впоследствии вылилось в учение о полной автономии разума, что определило затем всю судьбу западноевропейской философии, было таким образом впервые, со всей ясностью, намечено именно Фомой Аквинатом, от которого и *нужно вести разрыв христианства и культуры*, весь трагический смысл чего обнаружился ныне с полной силой.

Конечно, понятие «естественного разума» не есть понятие мнимое, оно соответствует бесспорной реальности, но разве жизнь во Христе не несет с собой подлинного

«обновления ума», не меняет самую работу «естественного», т. е. подчиненного действию первородного греха разума? Вся ошибка Аквината состояла в том, что он берет понятие «естественного разума», как понятие неподвижное, тогда как дело идет в христианском мире вовсе не о том, чтобы «христиански употреблять» разум, а о том, чтобы в Церкви находить восполнение и *преобразование* разума. Для христианина разум не есть «нижний» этаж его духовной целостности, а живая сфера его духа, куда проникают благодатные лучи Церкви. Отделять разум от веры, философию от богословия, значит опрочивать свет Откровения только той сферой духа, которая обращена к Богу, — считать, что жизнь в Церкви не открывает нам пути к преобразованию *всего* нашего естества, запечатленного действием первородного греха.

4. Фома Аквинат имел решающее влияние в судьбах всей христианской культуры на Западе, — его авторитетом, его построениями была как бы освящена, во всяком случае осмыслена и поддержана *та система секуляризма*, которая стала господствовать позже на Западе. «Естественный разум» не только был признан западной Церковью в полной своей компетенции, но он просто был «отпущен» на полную свободу (конечно, в *своей* территории). Иначе говоря, заключения, построения естественного разума отныне признавались имеющими полную, неотменимую силу для христианского сознания. Характерно то, что в западной Церкви система Фомы Аквината совершенно оттеснила близкие к восточной установке духа построения Бонавентуры.

Начиная с XIII века началось на Западе отделение от Церкви, от ее духовной установки, различных сфер культуры, — впервые проявилось это в области *права*, где просто рецепировались идеи языческого Рима, — а затем в XIV—XV веках это движение с чрезвычайной быстротой стало распространяться на все сферы культуры, на антропологию, философию, науку. В течение двух-трех веков произошло глубокое изменение в психологии культурного творчества, которое дало торжество свободному, но уже и внецерковному стилю культуры. Этот уход культуры от Церкви имел много различных корней в общем развитии западной истории, но, раз начавшись, он вел и ведет к дехристианизации культуры, во всяком случае к отрыву ее от Церкви. А та трагическая болезнь западной Церкви, которая завершилась реформацией и уже не на путях обмирщенной жизни, а во имя Христа увела значительные массы на новые, часто роковые пути, — все это до последней степени усилило этот трагический процесс.

Церковь на Западе, сколько могла, сопротивлялась и внешне и внутренне этому росту секуляризма, но ни инквизиция и преследование уходивших из Церкви, ни реформа в самой Церкви не смогли уже задержать его. Церковь стала терять и власть и авторитет, — а культурное творчество, развивавшееся в новых исторических условиях и заживавшее умы и сердца «верой в прогресс», стало проникаться все сильнее глубоким недоверием, а порой и ненавистью к Церкви и церковной власти.

Расцвет системы секуляризма в XVI—XVII веках довел указанный конфликт до чрезвычайной остроты; во всяком случае Церковь за это время совершенно утратила свое прежнее значение, как источник творчества, как сила вдохновения. Все призывало к тому, чтобы вывести культуру и творчество на новые пути, свободные от вмешательства Церкви, — а когда Лютер и Кальвин начали новое религиозное движение, уводившее религиозные силы на новые пути, они целиком стали на сторону свободного творчества в сфере внецерковного бытия, целиком отказались от влияния Церкви на культуру. Религиозная трагедия этим была закреплена надолго, — и вся новая

³⁾ «*Nihil prohibet (!) de eisdem de quibus philosophicae disciplinae tractant secundum quod sunt cognoscibilia lumine naturali rationis etiam aliam scientiam tractare secundum quod cognoscuntur lumine divinae revelationis.*» (S. Th. I).

(Ничто не мешает иметь другое знание, опирающееся на свет откровения, о том самом, о чем трактуют философские дисциплины и что может быть познаваемо в естественном свете разума). Цитат в этом роде можно извлечь из Sum. Th. сколько угодно.

⁴⁾ Scrtillanges. *Le christianisme et les philosophies*, v. I. p. 24.

⁵⁾ Gilson. *L'esprit de la philosophie médiévale*, v. I. p. 13, 38. См. также его небольшую книгу *Christianisme et philosophie* (1949).

история шла и донныне идет на Западе под знаком принципиального дуализма — христианства и жизни, христианства и культуры, христианства и творчества.

5. Для философии все это долго казалось началом новой жизни; идея «независимой», «чистой» философии, казалось, была особенно благоприятна для философского творчества. Оно действительно расцветало, — ряд гениальных мыслителей, от Декарта до Канта и далее, строили и строят философию, как самостоятельную, независимую область творчества. Философия в это время уже не только не ancilla theologiae, но, наоборот, она стремится подчинить себе, как высшей инстанции, и религиозное сознание. В век Просвещения появляются одна за другой попытки построить «систему разумного христианства» (Локк) или утвердить религию «в границах разума» (Кант), а с развитием психологии начинается через Шлейермахера, а потом в радикальной системе Фейербаха превращение религии просто в функцию человеческого духа. «Психологизм», сменивший упрощенный рационализм, сам, позднее, уступает место утонченному «феноменологизму», но так или иначе религиозное сознание ныне просто подчинено контролю философии, внутри философских систем создается особая «философия религии». Идея христианской философии в этих условиях получает как раз тот смысл, который собственно ей и отводился со времени Фомы Аквината: христианская философия есть философия христиан и ничего другого — она есть создание умов, которые философствуют «свободно» и «независимо», хотя где-то в душе хранят любовь ко Христу и чтут христианство и Церковь. Разделение двух сфер творчества и культуры кажется отныне навсегда закрепленным.

Ничто не характеризует с такой силой новую установку творческого сознания, как то, что в основу философии ставится ныне сомнение, которое устами Декарта провозглашено основным методом и правилом философствующих умов. Сомнение, конечно, может и должно иметь свое место в процессах размышления, но неужели нет *прямых* источников философии? Неужели угас тот свет, который осветил мир, когда свершилось Боговоплощение, и который охватил своей светящей силой всю душу? Очевидно, да, или вернее сказать так: то, что еще недавно казалось бесспорным, ясным и понятным, ныне стало уже возбуждать подозрение. Сомнение вообще есть ведь вторичная функция ума, всегда направленная на какие-то *положительные* утверждения... Исторически бесспорно при этом, что не у одного Декарта, не у одного Бэкона, но у всей эпохи вообще не было доверия к тому, что хранила традиция. В связи с тем, что философия — по заветам самого Фомы Аквината — должна строиться одними силами «естественного разума», для философии, очевидно, нужно было найти собственный источник познания. Для самого Декарта им было само мышление, поскольку оно мыслит «clare et distincte», для Бэкона и его последователей это был опыт, но дальнейшее развитие философии справедливо подчеркнуло то, что в данных мышлениях и в фактах опыта оказываются те или иные предпосылки. Отсюда погоня за «беспредпосылочной» основой философии — вплоть до «Критики чистого опыта» у Авенариуса и Маха, до феноменологии Гуссерля. Эта погоня, это искание «беспредпосылочной» основы философии бесплодны и пусты, ибо каждое новое философское поколение открывает предпосылки там, где, казалось, они все были элиминированы. Эта злая судьба философских исканий связана с тем, что неправильно сама установка «самостоятельности» (автономии) и независимости философской мысли. Дело в том⁶⁾, что сама природа мысли нашей *связывает наше мышление с категорией*

абсолютности; конечно, этот момент имеет здесь формальное значение, но все же даже формальное приобщение (через мысль) к абсолютной сфере обрекает нашу мысль на то, что она неизменно движется в *линиях религиозного сознания*. Оторвать наше мышление от сферы Абсолютного невозможно, и здесь остается, для критической позиции, лишь до конца осознать *неотрываемость философского мышления от религиозной сферы*. Мы дальше увидим, что это вовсе не упраздняет философию, а только вводит ее в определенные границы, уясняет основной смысл «свободы» в нашей мысли.

Но именно поэтому вся установка секуляризма и была бесплодной и трагической. Представление философии безграничной свободы по директивам «естественного разума» было ложно в разных смыслах, — философия, отрывающаяся от Откровения, не может пойти дальше собирания частичных истин или уяснения диалектической связанности тех или иных идей.

6. Но идея религиозной установки для философии, отброшенная томизмом во имя «мирного разграничения» сфер разума и веры, по другим мотивам, но в том же историческом контексте отбрасывалась и отбрасывается и все той же религиозной позицией, которая нашла свое выражение в Реформации. Я позволю себе отослать читателя, например, к первым главам книги Жильсона «Christianisme et philosophie», где очень подробно и ясно очерчена позиция в этих вопросах Лютера и Кальвина. Но вот возьмем одну из лучших книг, написанных в наше время на эту тему со стороны кальвинистов — R. Mehl, «La condition du philosophe chrétien» (Neuchâtel, 1947). Книга эта написана с большим вдохновением, с подлинным религиозным пафосом, с превосходным знанием современной литературы, относящейся к нашему вопросу. Она свежа, ясна и категорична, — тем ценнее ее признание.

Мы найдем у Меля ряд идей, которые совпадают с тем, что дорого нам, православным, — таково, например, его учение о том, что понятие «разума» не может быть признано однозначным, что то, что принято считать «естественным светом разума», несет на себе следы первородного греха, что «обновление ума», о котором говорил апостол Павел и которое связано с верой в Спасителя, открывает нам совсем иные пути познания, чем те, которые доступны «естественному свету разума». «Вера преобразует самый разум», утверждает Мель, и к этому тезису, направленному против томизма, мы всецело примыкаем. Но между «естественным порядком» бытия и той новой жизнью, которая открылась миру в Господе, для Меля нет никакой связи, нет никакого взаимоотношения:⁷⁾ «Всякое доктринальное утверждение, — пишет он, — если оно взято отдельно от всего откровения, *сейчас же теряет* свое качество христианской истины». Это значит, что в христианском учении — ибо между тем и другим «пропасть велика утвердися»...

Естественно, что для Меля «мир не может принять в себя чуждые ему элементы, которые делали бы его христианским: невозможно, — пишет он, — установить переход от догматических утверждений христианства к утверждениям философии». Это категорическое раздвижение сфер естественного бытия и бытия благодатного, естественное и типичное для протестантского учения, естественно делает невозможным и ненужным самый замысел христианской философии. «Или философия есть просто оразумление Откровения, и тогда она есть догматика и ей нужно отказаться от методов и построений философии, или она есть продукт человеческого творчества — и тогда все ее утверждения покоятся только на естественном све-

⁶⁾ Это прекрасно выяснено в труде кн. Е. Трубецкого «О смысле жизни».

⁷⁾ Эту же позицию в русском богословии с большой настойчивостью развивал М. М. Тареев. См. о нем в моей «Истории русской философии», т. II.

те разума». «Включение Откровения в философскую систему решительно невозможно».

В этом раздвижении естественного и благодатного порядка Мель (очень последовательно) доходит до того, что утверждает, что для естественного разума будто бы возможно изучение и толкование мира и человека вне всякой идеи о Боге: на пути естественного познания будто бы «можно никогда не встретить Бога». В этих словах, не просто утверждающих всецелую автономию естественного разума, но возводящих ее как бы к выше созданному порядку, разумеется, не может быть и речи о христианской философии. Повторяя слова Жильсона, Мель со своей стороны подчеркивает, что «понятие христианской философии» имеет не больше смысла, чем понятие христианской физики или христианской математики.

7. Это *reductio ad absurdum* идеи христианской философии, как видим, одно и то же у протестантов и католиков, хотя и исходит у них из разных оснований. Католическая позиция определяется потребностью оградить богословие от нападков и критики «независимой» философии, для чего и нужно, по доминирующему здесь взгляду, определить «законное» поле деятельности для «независимого» разума, — чем будто бы будет утверждена возможность для разума выходить за указанные ему пределы. Эта тенденция к «размежеванию» богословия и философии, предоставляя полную свободу естественному разуму, совершенно освобождая его от всякой координации с богословскими идеями, наоборот, подчиняет богословие философской диалектике. С предельной ясностью это проявилось у Фомы Аквината в том «недоразумении» с кардинальным для христианской метафизики понятием творения, которое продиктовало ему учение о том, что идея безначальности мира, несоединимая с понятием творения, философски (т. е. по Аристотелю) будто бы неотделима. В порядке веры он держится, конечно, за учение о «начале» мира, в порядке же философском не считает возможным сохранить это учение. Путаница, которую этим внес в богословие Фома Аквинат, с полной уже силой проявилась в наши дни у неотомистов (см. особенно книгу лучшего комментатора Фомы Аквината Сертианжа: — в его книге *L'idée de la création*), естественный разум, свободный от Христова света, признан самодостаточной инстанцией, а свет Христов *non tollit naturam*...⁸⁾ Богословие начинает бояться упрёка в том, что оно *вмывает на разум* — и так оформилось в самом же католическом мышлении идея свободной, независимой философии. К чему это привело — это показала вся дальнейшая история западной философии, которая «в пределах чистого разума» создавала системы гносеологического идеализма и постепенно (и последовательно) превратила религиозную сферу в определенную *функцию человеческого духа*, т. е. оторвала ее совершенно от Первореальности. Внерелигиозная установка чистой философии диалектически и фактически превратилась позднее в антирелигиозную установку, до конца договоренную уже Фейербахом.

Но те же пути философии наметила и протестантская позиция, неизбежно возводившая принцип *sola fide* в общую позицию при истолковании человека. Только здесь дело шло и идет не о примирении с «естественным разумом», а об религиозном отвержении его; естественный разум потому и может пользоваться безграничной свободой, что от него все равно нет и не может быть никакого пути к Откровению. Конечно, и здесь принимается во внимание участие разума в «оразумлении» Откровения, но это участие сводится к формально логической обработке Откровения, т. е. не вносит ничего в самое содержание верования. Вне же Откровения разуму предоставляется безграничная свобода...

⁸⁾ См. об этом мой этюд «Проблема космоса в христианстве» (Православная Мысль).

8. В отличие от позиции, занятой обеими ветвями западного христианства, мы защищаем идею христианской философии, так как решительно отвергаем то раздвижение веры и знания, которое и на Западе явилось довольно поздно, как свидетельство *бессилия* христианского сознания, а на Востоке никогда не имело места. Христианство изначально было религией Логоса, и не случайно в тропаре на Рождество Христово поется: «Рождество Твое, Христе Боже наш, возсия мирови свет разума». Вера апостолов и непосредственных учеников Спасителя ни в какой степени не принимала разграничения или противопоставления ее разуму, — она была «знанием», которое было в живом согласии с обычным знанием. А у ап. Павла очень развито учение о том «обновлении ума» (Римл. 12, 2), которое освобождает от следования «веку сему» и есть начало нашего «преобразования». Христианам надлежит, по ап. Павлу, «иметь Бога в разуме» (Римл. 1, 28), и мы должны бояться того «ослепления ума», которое идет от «бога века сего» (II Кор. 4, 4). Через «покаяние» открывается нам «познание истины» (II Тим. 2, 25); во Христе мы «обогашаемся всем — всяким словом и всяким познанием» (I Кор. 1, 5). Заметим, что ап. Павел принадлежал к числу образованнейших людей своего времени, т. е. как раз был насыщен теми истинами «естественного разума», которые так соблазнили Аквината, — и тот же ап. Павел звал к «обновлению ума». Ранее христианство именно в силу этого, т. е. опираясь на то расширение познавательных сил, которое возведено в этих словах об «обновлении ума», с самого начала ступило на путь рецепции из языка того, что было приемлемо для христианского сознания. Это отнеслось к христианской терминологии, (таковы термины *logos*, *pneuma*), к некоторым литургическим материалам⁹⁾ и даже к догматическим вопросам (именно в виду использование у Великих Отцов некоторых принципов платонизма). Путь рецепции и есть путь христианской мысли, которая, опираясь сама на Откровение, на церковный разум, принимает все, что родилось вне христианства, если это согласуется с началами христианства.

Единство разума и веры нам однако *не дано*, но оно *задано*. Обе стихии духа свободны и могут иногда расколоться, — и часто нужны духовные усилия, чтобы восстановить это единство. Поэтому природа разума, как познавательной силы, не включает в себе *никаких* трудностей для единства веры и знания.

Трудности эти вытекают только из рационализма, который утверждает автономию разума и подчиняет себе все движения духа, в том числе и то знание, какое заключается в вере. Но эти притязания рационализма не могут быть оправданы — они являются следствием общего направления в духовной жизни западного христианства, которое именуется секуляризмом, т. е. отрывом от Церкви всех видов человеческого творчества (наука, философия, этика и т. д.).

9. Христианская философия возможна. Но есть ли у христианской философии какая-либо особая тема, которая отличала бы ее от догматики? Конечно, да. Догматика есть философия веры, а христианская философия есть философия, *вытекающая из веры*. Познание мира и человека, систематическая сводка основных принципов бытия не даны в нашей вере, они должны быть построены в свободном творческом нашем труде, но во свете Христовом. Особой задачей философии является *уяснение диалектики идей*, уяснение внутренней структурности в основных наших понятиях. Чтобы понять всю реальность этой задачи и ее возможности, нам должно войти несколько подробнее в анализ разума, чем мы и должны заняться, — и только тогда для нас станет до конца ясной заброшенная на Западе идея христианской философии.

⁹⁾ См. среди других работ труд Hugo Rahner, *Mythes grecs et mystères chrétiens*. Trad. fr. 1954, а также работы Dölger'a.

А. АНАТОЛИЙ (КУЗНЕЦОВ)

Внутренний цензор

Ниже мы помещаем доклад бывшего советского писателя Анатолия Кузнецова, пишущего теперь под литературным псевдонимом А. Анатолий, который он прочитал на международной конференции посвященной вопросам советской цензуры, организованной с 5 по 7 января с. г. в Лондоне Институтом по изучению СССР.

*

Внутренний цензор в той или иной форме существует в каждом из нас. Но если на Западе внутренняя самоцензура художника чаще всего является просто самодисциплиной, то в Советском Союзе это — вынужденное, уродливое самоистязание.

Будучи еще «советским писателем», я однажды пережил в своей жизни (и очень благодарен ей за это) удовольствие писать без внутреннего цензора. Мне пришлось сделать большое усилие, чтобы полностью расковаться, освободиться. Это было в 1968 году, когда я жил в Туле. По ночам, запершись и абсолютно убедившись, что никто не видит и не слышит, совсем как тот герой романа Орвелла «1984», — я вдруг позволял себе писать все, что хотел. Получалось нечто такое странное и «крамольное», что я немедленно зарывал рукопись в землю, потому что квартиру обыскивали во время моих отъездов. По сей день мне кажется, что то было лучшее из всего, что я написал в жизни, но оно настолько необычно и, может быть, нахально, что я до сих пор не показывал его даже близким друзьям. Но во всяком случае это был пир, душевный пир художника. Не знаю, удастся ли повторить, но то было большое счастье. Ради таких моментов, наверное, стоит жить.

В романе «Бабий Яр» есть три главы с одинаковым названием «Горели книги», но напечатана из них была только одна. У меня там книги горят в 1937 году, потом в 1941 году при немцах, потом в 1947 году после немцев. При публикации в «Юности» цензура оставила только главу о книгах, которые горят при фашизме.

В выброшенной главе о 1937 году моя мать, сжигая в печке опасные книги и бумаги, говорит мне, тогда мальчику, что это страшно, когда горят Александрийские библиотеки, сжигают Радищева или разводят из книг костры на площадях, но еще страшнее, когда в каждом доме, каждый человек сам от страха, так сказать из профилактики, начинает жечь книги.

В те годы такое происходило повсюду в Советском Союзе, в том числе и в нашей маленькой хате: жгли все вплоть до Горького, чтобы, если будет обыск, ни клочка не обнаружили чего-нибудь антисоветского. При немцах жгли, наоборот, все советское. После немцев — опять антисоветское. В конце концов у нас дома не осталось книг, совершенно не осталось, хотя была большая библиотека, я ее помню.

Так вот отвратительно, когда политическая цензура кромсает книги, но еще страшнее, когда за каждым письменным столом, каждый человек сам от страха эту цензуру в себе воспитывает, культивирует и с нею постоянно живет.

Все без исключения, что печатается в СССР, имеет клейма этих двух цензур: сперва внутренней самоцензуры, а вслед за ней еще и внешней.

До самого последнего времени я не испытывал счастья видеть свое произведение опубликованным так, как я его написал. У меня обычно печаталась половина того, что я предлагал напечатать. И это было третью, а то и меньше, того, что я мог бы предложить и хотел бы увидеть напечатанным, если бы была свобода слова и печати. Но начиналось с того, что я сам, первый, писал и предлагал нечто смягченное и осторожное. Скажем, никто ведь не принесет в советское издательство книгу, в которой всерьез напишет, что Ленин — чудовище, или «долой коммунизм и коммунистов». Самоубийством кончать не каждый хочет. Я родился и вырос в мире, где все время нужно лгать, если хочешь элементарно выжить, и вообще всеми способами спастись. Во всяком случае я был живучий и до сих пор жив только потому, что всю жизнь только то и делал, что спасался. В литературе это выражалось тем, что я проводил свою мысль намеком, комплексом образов, наталкивая на аналогию. А уже далее эти результаты моей самоцензуры кромсались ножницами цензуры казенной.

Приведу примеры — как это выглядит на практике. В «Бабьем Яре», уже после того, как нацисты заняли Киев, идут расстрелы, пожары, голод, ужасы, однажды мы с беглым пленным Василием поехали на телеге в деревню, через леса.

«Я лежал в сене лицом кверху, смотрел, как плывут вершины, иногда замечал рыжую белку или пестрого дятла и думал, кажется, сразу обо всем: что мир просторен, что Василий оказался прав, эта стреляющая-убивающая саранча ходит по ниточкам и узлам, вроде нашего города, где творится черт знает что, Бабий Яр, Дарница, приказы, голод, арийцы, фольксдойчи, горящие книги, а вокруг все так же, как и миллионы лет назад, тихо шумят вершинами сосны, и под небом раскинулась огромная, благословенная земля, не арийская, не еврейская, не цыганская, но просто земля для людей, именно людей. Боже мой, или их еще нет на свете, или они где-то есть, но я об этом не знаю... Столько тысяч лет род людской живет на Земле — и до сих пор все не могут чего-то поделить.

Ох, было бы что путное делить, а то ведь один нищий вывешивает портянки сушить, а другой нищий за эти портянки его убивает. И неужели единственное, что люди в совершенстве освоили за всю историю, — это убивать?»

В редакции журнала «Юность» мне говорят: «Возьми обратно рукопись, беги домой, скорее переправь и принеси в другом виде, это даже и показывать никому невозможно». Я начинаю думать: что же здесь вычеркнуть, какие здесь крамольные намеки? Вычеркиваю последний абзац о дележе портянок и убийствах.

Когда принес снова в «Юность», они посмеялись надо мной — главный редактор Б. Полевой, его зам. С. Преображенский и другие, вычеркнули половину первого абзаца и поставили точку после слов «шумят вершинами сосны».

Я стал спорить, отстаивал каждое слово, то восстанавливали, то опять вычеркивали, думали, советовались, и наконец рискнули продлить еще на две строки и точку поставили после слов «именно людей». Дальше, сказали, уж явная крамола.

В конечном счете что осталось? Обвинение фашизму, немцам. А от более широкой мысли, общегуманистической, не осталось ничего. То же самое случилось со всей книгой в целом. Я писал ее с общегуманистической позиции, но в советском издании она всего лишь — еще один обвинительный акт немецкому фашизму. Слова «общечеловеческий гуманизм» употребляются Борисами Полевыми только как ругательство.

Еще один пример из того же «Бабьего Яра», чуть дальше, когда мы приехали в деревню, рассказали, что в городе творится, а наша хозяйка Гапка стала рассказывать про жизнь в селе.

«А к ним, оказывается, пришло счастье: не стало колхозов. Сгинули к чертовой и перечертовой матери.

Не стало никакого начальства, дармоедов, прихлебателей, толкачей, погоняльчиков, а немцы как здесь прошли, так их с тех пор и не видели. Была деревня Литвиновка, были просто крестьяне — сами по себе, не помещичьи, не советские, не немецкие, Господи, Боже ты мой, да когда же это было такое?!

Поэтому стал каждый жить по своему разумению. А вокруг стояли неубранные поля, и каждый выбирал себе любой участок, жал хлеб, копал картошку, запасался сеном. Возить уже было некуда. И наелись, наелись, наелись. Даже дед и баба не помнят, было ли когда-нибудь, чтобы Литвиновка досыта наедалась.

Запасались на годы, погреба ломились от овощей, чердаки были завалены яблоками и грушами, под соломенными стрехами гирляндами висели сушеные фрукты, и никто ничего не запрещал, и никто ничего не отнимал, и никто никуда не гнал... Старухи крестились и говорили, что это — перед концом света... Литвиновка купалась в счастье».

Ну, естественно, и об этом куске мне сказали: никому не показывай. Сижу, ломаю голову, что здесь вычеркнуть, чтобы прошло в печать. «Пришло счастье — не стало колхозов» — оставить или нет? Рискну оставить, пусть сами вычеркнут. «Сгинули к чертовой и перечертовой матери» — это надо выкинуть, это самоубийство оставлять такую фразу, вычеркиваю ее. «Не стало никакого начальства» — оставлю. «Дармоедов, прихлебателей, толкачей, погоняльчиков» — это, ясно, не пройдет, вычеркиваю... Вычеркнул «не помещичьи, не советские, не немецкие», «и никто ничего не запрещал, и никто ничего не отнимал, и никто никуда не гнал». И жалко-то как, сидел ведь, каждую фразу искал, зачем спрашивается, была работа?

Но в редакции от этого, уже исправленного, куска приходят в ужас, как и прежде — и черкают серьезно. В конечной редакции это место было напечатано вот как:

«Немцы как здесь прошли, так их с тех пор и не видели. И стал каждый жить по своему разумению. Вокруг стояли неубранные колхозные поля. Каждый выходил, выбирал себе участок и жал хлеб, копал картошку, бураки. Возить было некуда. Все оставалось на месте. Поэтому мало сказать, что все мы были сыты, говорила Гапка. Запасались на зиму, погреба ломились, чердаки были завалены яблоками и грушами. Ну прямо как будто не было кругом никакой войны, никакой беды у народа. А старухи говорили: «Это перед концом света».

Новые слова — «бураки», «все оставалось на месте», «мало сказать, что все мы были сыты», «ну, прямо как будто не было кругом никакой войны, никакой беды у народа» — это так «отредактировал» своей рукой Борис Полевой.

И так по всему роману, по каждой странице, живого места не оставляется, либо листы вообще накрест перечеркнуты, либо испещрены красными, синими, зелеными,

черными (у каждого «стража» свой постоянный цвет) сокращениями, изменениями сверх моих собственных, сделанных простой ручкой.

У каждого писателя при этом может возникнуть безнадёжная мысль: к чему стараться? Я опубликовал четыре романа, прошел четыре Голгофы, но уже к четвертой я устал, и свой четвертый роман «Огонь» писал, останавливая на каждом шагу свою руку: ну, зачем я вот это и вот это буду писать впустую, только вхолостую тратить энергию и чернила, когда абсолютно уверен, что его вычеркнут, оно никак не может быть напечатано. Но оказалось еще хуже; во мне всё одеревянело, душа как бы заледенела от моего собственного внутреннего цензора, я почувствовал себя как в каменном мешке. И, словно по иронии, цензура проделала потом с «Огнем» правку самую издевательскую из всех, какие только она проделывала надо мной. Мой внутренний цензор оказался слаб.

К области сделок с совестью и принципами можно отнести метод «торговли» с цензорами, когда за право оставить что-либо в твоём произведении или вообще ради того, чтобы оно было напечатано ты соглашаешься дописать что-то в угоду им. Я этим методом пользовался довольно часто. Соображение такое: люди прочтут важную главу, сцену, кусок, и это главное, а дописанную далее мерзость, может быть, не примут, пожав плечами, плюнут, не поверят.

Обычное выражение цензоров: «Если оставить этот кусок, то надо нейтрализовать его», то есть дописать что-нибудь высокоидейное. Благодаря такому методу был напечатан мой первый роман «Продолжение легенды». Реализм, описание трудностей и ужаса жизни строителей в Сибири, а конец сверхоптимистический и бодрое «ура». Очень мне любопытно было посмотреть, как «Продолжение легенды» хвалила присяжная критика, и вместе с тем его с удовольствием читали хорошие, умные люди. Когда я спрашивал у них: «Как же вам это может нравиться?», они отвечали: «А мы на лозунги в конце не обращали внимания, мы же понимаем, что их от тебя требуют, без этого же не напечатали бы». Хорошо, что люди понимают, но далеко не все понимают, и в конечном счете твоё произведение — фальшивка какая-то, а не литература.

Потому что цензоры не глупы, их не обманешь, написав в порядке «нейтрализации» какие-нибудь бездарные идейные гадости, в которых читатель ясно распознает фиговый листок. Нет, в порядке «нейтрализации» талантливый кусок изволь написать такую же талантливую гадость. Такую же сильную, убедительную. При наличии её твой дорогой кусок уже сломан, ты сам его оболгал и предал. Смотришь на результат своей торговли, своих уступок — и видишь, что пришел к обыкновенной творческой подлости.

При издании «Бабьего Яра» отдельной книгой я хотел кое-что восстановить, хоть какие-нибудь кусочки, безбидные. Издательство «Молодая гвардия» противилось, но потом согласилось на очень небольшие вставки (из того, что вычеркнула «Юность»), но при условии, что и я кое-что сделаю. Например, прибавить антиеврейских нюансов. Вот, например, каким образом:

«Юность»

— Дед! — спросил я. — Евреев тут стреляли или дальше?

Дед резко остановился, оглядел меня с ног до головы и сказал:

— А сколько тут русских положено, а украинцев, а всех наций?

И ушел.

«Молодая гвардия»

— Дед, — спросил я, — евреев тут стреляли или дальше?

Дед резко остановился, оглядел меня с ног до головы и вдруг как закричит:

— А сколько тут русских положено, а украинцев, а всех наций? Тьфу!..

И ушел.

В первом случае дед просто серьезно напоминает, что в Бабьем Яре лежат не одни евреи. Во втором случае дед (представитель народа!) возмущен вопросом о евреях до того, что плюется. Такая нюанс-подлость родилась в результате моей торговли с редакторшей-антисемиткой, но справедливости ради должен сказать, что «Тьфу!» она в конце концов уступила, мы его вычеркнули в последний момент. За продление сцены прогона пленных в главе «Харьков взят» я должен был написать несколько дополнительных проклятий нацистам с гневным резонерским рассуждением, что они специально добивались превращения советских воинов в безумное стадо. Главу о власовцах допустили при условии, что к изображению их я добавлю черной краски. И так далее.

Самоцензура — самопродажа — писательская проституция. Это в Москве главная тема угрюмых разговоров авторов, которые не растеряли всю совесть, пытаются что-то донести до читателя через печать, идя на нечистоплотные сделки.

Знакомство, дружеские отношения с властью имущими (хотя, может, вы их в душе ненавидите) тоже используются для временных, разовых брешей в цензуре, как один из видов самопродажи. Они могут закрыть глаза на какую-нибудь не очень опасную литературную вылазку. Это всегда очень помогало Евгению Евтушенку, и в большом числе случаев ему только и удавалась публикация потому, что срабатывала связь. Именно публикация. Потому что опубликовать талантливое стихотворение в СССР раз в пятьдесят труднее, чем его написать.

Будучи главой украинского союза писателей, Олесь Гончар мог позволить себе некоторые вольности в романе «Собор», потому что совесть у него, видимо, болит, как у многих болит. Это специфический комплекс многих известных советских писателей, толкающий их на некоторые «смелости», за которые могут и побить. Гончара за «Собор» побиили. Как раз накануне своего отъезда я видел его в Туле и спросил, что же теперь с «Собором».

Оказывается, к счастью Гончара, подоспела декада украинского искусства и литературы в Российской Федерации, и он давно уже был определен в правительственную делегацию от Украины. А правительственную делегацию возглавлял член ЦК КПУ Омельченко. И они с Гончаром сдружились. Этот Омельченко — физик-атомщик, весьма непохожий на обычных советских руководителей, видимо, очень много понимающий, может, из такой же категории, как академик Сахаров, но зачем-то он из академической науки ушел в политику, и вот уже член ЦК... Не форпост ли от атомщиков, прокладывание путей к ключевым позициям? Но это уже мои вольные домыслы. Во всяком случае, и Омельченко помог Гончару, и декада. Дело с «Собором» замяли, погасили.

Александр Солженицын или Иосиф Бродский не пользуются искусством дружбы с сильными. Евтушенку пользуется. Это тактика. На один банкет в Доме литераторов весной 1969 года был приглашен А. Микоян, он важно восседал во главе столов, как свадебный генерал. Весь зал перестал для Евтушенку существовать. Он долго выжидал, пока возле Микояна освободится место, захватил его, принялся задавать вопросы, обхаживать, восторженно смотреть в глаза, поддакивать, прямо хвостом виляя, и Микояну это понравилось. После этого банкета Евтушенку, конечно, может рассчитывать на помощь Микояна в случае надобности. Напечатать стихи, клеймящие наследников Сталина, с помощью наследников же.

Это все очень страшно в том мире — подобная торговля какой-то частью себя ради того, чтобы публиковаться, пробивать свои писания сквозь бетонные стены цензуры. Но торговля совестью, вечное политиканство и вечная самоцензура в конечном счете приводят к гибели, как это великолепно показал Аркадий Белинков на примере Олеси — именно сдача и гибель советского интеллигента. Цензура губит не одни книги — порождая вынужденную

самоцензуру и торговлю совестью, она губит души. Губит художников. Губит людей.

Лично я на этой дороге сдачи и гибели дошел до грани, за которой, чувствовал, не то кончат самоубийством, не то сходят с ума. Я бежал из Советского Союза, как животное, спасающееся от стихийного бедствия: куда угодно, но только прочь, прочь, иначе гибель.

Настоящей великой советской литературы быть не может, ибо для настоящего писателя Советский Союз — это то же самое, что цирк для дикого льва. Львы в этом цирке могут существовать только дрессированные и покорные. Таланты уродуются, гибнут в сердцеvine, гибнут на корню. Талантов очень много в этой стране, богатая ими земля. Возможно, загублены и гении. Потому что выживают те, кто спасается, лезет любым путем, живет в компромиссах тихих или в злодействах явных. А гений некомпромиссен, гений и злодейство — несовместны, и та кристальная цельность и чистота, без которой нет гения, в Советском Союзе невозможны, и невозможны сто процентно.

В свое время меня до глубины души потрясло самоубийство Александра Фадеева. Его «Разгром» — свидетельство явного и большого таланта, и кто знает, что мог бы сделать в условиях свободы художник таких потенциальных сил, какими обладал Фадеев. В советском цирке он стал первым подручным от литературы у главного дрессировщика-палача. Его «Молодая гвардия» в двух вариантах и неоконченная «Черная металлургия» — предмет для исследования бывшей личности художника, превратившейся в сплошную ужасающую раковую опухоль.

В то время я учился в Литературном институте, и под студенческие общежития были отданы несколько писательских дач в Переделкино. Мы жили по соседству с Фадеевым, встречали его и, когда он застрелился, прибежали одними из первых, но, к сожалению, на минуту позже, чем милиция. Дачу оцепили, мертвого Фадеева увезли в Москву, а остались работники органов, которые сутки еще рылись и разбирали его бумаги.

Объяснение в «Правде» самоубийства Фадеева его алкоголизмом — это чистой воды циничная ложь. В те первые минуты, когда мы прибежали, домработница Фадеевых рассказывала, что он две или три недели совершенно не пил, работал, часто бродил, задумавшись, и в это утро вышел в сад, поговорил еще с садовником, что деревья нужно окапывать и гнезда гусениц обобрать, а потом сказал: «Пойду наверх, что-то устал...» Пошел наверх в кабинет, и там что-то стукнуло. Потом домработница заглянула и увидела, что Фадеев лежит мертвый, валяются револьвер и простреленная диванная подушечка: он выстрелил себе в сердце зачем-то через подушку.

С Фадеевым был близок С. Преображенский, нынешний заместитель гл. редактора «Юности». Он биограф Фадеева, написал о нем сценарий, подготавливает публикации. Преображенский был в числе первых людей, вошедших в кабинет Фадеева вместе с милицией. Он увидел на столе два толстых конверта, надписанные рукой Фадеева: «В ЦК КПСС» и «Моей семье». Преображенский хотел взять, но милиционер не позволил: «Разве они вам адресованы?»

После того конверты исчезли, никто не знает их содержания, и семья в том числе. Но, судя по всему, в них было много написанного, и писавшегося, возможно, не один день. Самоубийство было задолго и трезво обдуманно.

Я много говорил обо всем этом с Преображенским. Он считает, и я с ним согласен, что и вторая версия — что Фадеев боялся мести литераторов, которых он помогал репрессировать при Сталине, — тоже сшита белыми нитками. Конечно, после смерти Сталина палач от литературы осиротел, возможно, кто-нибудь из реабилитированных искал бы случая дать ему в морду, но все это было лишь каплей, переполнившей чашу. Главным содержанием этой чаши был ужас перед собой. Талант, человечность, все хоть мало-мальски высокое и святое — задумано в самом

себе своими руками, спроституировано, и жизнь сделана, пущена псу под хвост, уже не взлетишь, хоть раздери на себе одежды и удались в пустыню, — и это даже ты сделаешь на какой-нибудь похабный сталинский манер, в жизни осталась одна черная металлургия по матерым социалистическим штампам... Когда такое увидишь — жить не захочется. Невыносимо жить.

В своих карабканьях и торговле талантом я по сравнению с Фадеевым — жалкий школьник, но и мне уже десятки раз не хотелось жить, когда вдруг с трезвой ясностью увидишь, где ты живешь и какова тебе цена. Невыносимо жить, дышать не можешь, спать не можешь. Есть она, эта самая совесть с зелеными глазами, она мстит за то, что ее топчут, и иногда бывает такая живучая, что чем сильнее топчут, тем страшнее мстит. Видимо, она такая тлела где-то в глубине у Фадеева. Его смерть — это шекспировский сюжет.

Итак, одни писатели ударяются в открытый цинизм: раз в нашей жизни преуспевают только сукины сыны, так будем же таковыми в полную силу, уж преуспеем — так преуспеим. Самоцензура и ложь в творчестве становятся для них самой их плотью и кровью. К подлинной литературе это племя относится с ненавистью поистине патологической, и чем более честного и талантливого писателя они видят, с тем большим бешенством готовы удушить его.

Другие, видя, что без компромиссов не проживешь, идут на вынужденную самоцензуру, на разное политиканство, уступки, каждый в меру своей совести, ради того, чтобы где-то что-то все-таки донести до людей в своих творениях-калеках, делать хоть что-нибудь, хоть малые дела, и тем выполнять свою миссию.

Треть предъявляют к себе требования по большому счету, на уступки не идут, с цензурой не ведут игры, и самоцензуры (думают они) не имеют. Произведение такого писателя имеет шансы попасть в печать только чудом, как-то исключительным случаем. Они пишутся в стол, в лучшем случае пойдут «Самиздатом».

О, сколько сейчас на Руси забытых рукописями столов, а может и ям в земле, подобных моим. Далеко не все падает в «Самиздат», авторы показывают свои работы только самым близким людям и не позволяют перепечатывать.

Я занимался поисками такой литературы, просил кого только мог: дайте почитать рукописи. Так я узнал совершенно великолепную молодую ленинградскую литературу, можно сказать, целое явление в сегодняшней литературе. Но авторы ее не признают «Самиздата», держатся закрытой, обособленной группой, пишут как бы для себя, для своего удовольствия — и кладут в стол. И только если вы очень заслужите их доверие, вам могут дать прочесть совершенно блестящие рукописи, но не выпуская их из дома. То есть, вы приходите к кому-то домой, можете устраиваться на тахте, пить чай — и читать хоть всю ночь, брать же с собой или снимать копии нельзя.

Не осквернять свое творчество нечистоплотной борьбой за публикацию, работать только для искусства, не зная вопроса «зачем?» — это их принцип, и он симпатичен... Но только при нем обнаруживается одна странность, причем с такой пугающей последовательностью и наблюдавшаяся мною так часто, что, пожалуй, можно считать ее закономерностью.

Для движения и развития таланта нужны не только искренность в самовыражении, свобода творчества без всякой цензуры, но, как воздух, нужна все-таки аудитория. Аудитория питает талант. Она необходима писателю так же, как, скажем, актеру. Какой бы ни был гениальный писатель, но если он выступает запершись, перед зеркалом, без общения с зрительным залом, без аплодисментов, наконец, он просто зачахнет. Писатель, поэт по самой своей сути — человек, говорящий для аудитории. «Пишу только для себя» — в конечном счете самообман. Распространенное утешение «Меня оценят потомки», за очень редкими исключениями, не может заменить живую

воду публикации сегодня. Если тебя читают несколько друзей, то вначале, может, этого и достаточно, но надолго этого не хватит. И начинается неумолимое угасание.

Слишком часто я это видел своими глазами, на примере хорошо знакомых мне людей. Сначала человек делает грандиозные заявки, кажется иногда: гений в потенции. Не публикуют, но он и не расстраивается, он продолжает творить для Великой Литературы. Пишет новые творения на том же уровне. Мы ждем от него движения выше. И вдруг дальше он пишет почему-то не выше, а ниже, ниже. Начинает попахивать графоманией. Спускается до чего-то совершенно бездарного и бьется, бьется в своих писаниях, как муха в паутине. Погиб на глазах, и уже не возродится, никакими уколами не оживить: талант задохнулся и усох.

Происходит это и с людьми, сперва пробившимися на арену публикаций и общения с аудиторией, а затем лишенных ее. Очень интересно начинавший молодой писатель, мой друг Анатолий Гладилин, повесть которого «Хроника времен Виктора Подгурского» в свое время положила начало целому течению «молодежной советской повести» о мятущемся молодом человеке, продолжал дальше писать все лучше и соответственно подвергался все более свирепой цензуре, пока его не прекратили печатать совсем. Он фактически стал писать в стол. Нужда, мрачная безнадежность, работа «для потомков»... В последний раз я побывал у него летом 1969 г. У него лежит огромная куча неопубликованного. Читаешь — и на всем печать какого-то тупика. А последний, самый свежий его роман «Робеспьер» я не смог дочитать: это почти графомания, так это плохо написано, без малейшей искры.

Украинскую поэтессу Лину Костенко многие считали второй Лесей Украинкой, а может быть и больше, она выпустила прекрасные книги стихов, затем ее стали печатать все меньше, и вот много лет совсем не печатают. Она продолжает работать, у нее горы неопубликованного, но только оно не лучше того, что публиковалось, а скорее хуже.

От последнего посещения ее я вынес тяжелое чувство какой-то непоправимой беды. Она окружена слезкой, затугана, отгородилась от всех, она едва-едва открыла мне дверь. Та же нужда, безвыходность, заваленный рукописями стол — но начинаешь читать одно, другое и вдруг видишь, что это пережевывание, топтание по кругу. Последнюю поэму «Богдан Хмельницкий» Лина Костенко пишет бесконечно, передельвая и передельвая, но когда я взглянул на отрывки, мне стало не по себе. Они мертвы.

Молодой ленинградский писатель Владимир Марамзин имеет потрясающие неопубликованные произведения, написанные несколько лет назад. В печать у него прошли только некоторые рассказы и книжечка для детей. Он продолжает писать «в стол», но не лучше прежнего, а все хуже. Я мог бы назвать из москвичей Юлию Файбышенко, начавшего необычайно интересно, но так и не пробившегося в печать — и совершенно заглохшего.

Цензура губит в том случае, когда с нею ведут игру, доводя до протитуирования талантом и разрушения его. Но если не идти с ней на компромиссы, уйти, быть в чистой литературе без аудитории — опять гибель.

Что же в таком случае представляют собой забытые рукописями столы? На девяносто процентов это залежи талантливых, интересных, порой захватывающих заявок. «Суждены нам благие порывы, но свершить ничего не дано». Но вдобавок эти заявки еще компромиссны, писаны все с той же самоцензурой, делающей их ущербными. Ведь это только по сравнению со свирепой цензурированной публикуемой литературой они могут казаться написанными свободно. Большинство авторов питало тайную надежду, что вдруг это все-таки будет опубликовано, и писали они хоть и свободнее признанных писателей, но отнюдь не абсолютно свободно. То, что хранят в столе — это все равно самоцензурированная литература, то ли побывавшая в редакциях и отвергнутая, то ли хоть и не побывавшая, но такая, что автор не очень боится обыска.

Часть такой литературы ходит в «Самиздате», но ведь опять-таки это не абсолютного вольная литература, это все — вольность до определенного предела, сдерживаемая самоцензурой. Если КГБ будет квалифицировать ту или иную самиздатовскую вольность как антисоветскую агитацию, то автор будет это оспаривать.

Итак, вынужденная самоцензура, куда ни посмотришь. В одном случае больше, в другом случае меньше. В мире, поставленном вверх ногами, одни прочно ходят на руках, другие пытаются ходить на четвереньках, и это уже страшная крамола. Но кто нормально ходит на ногах?

Может быть, существуют рукописи, которые хранятся не в столе, а где-нибудь в дупле или в земле, но нам о них ничего не известно. Я сказал уже о своих попытках, закрывшись по ночам, пробовать вставать на ноги. Если бы кто-нибудь случайно наткнулся на зарытые мои рукописи, пожалуй, меня бы посадили в сумасшедший дом или как-нибудь тихо ликвидировали. Человек в Советском Союзе, пишущий без самоцензуры, должен быть готов заплатить за это дорогой ценой.

Все к той же вынужденной самоцензуре, то есть к вынужденному насилию над своим творчеством, я безусловно отношу искусство говорить между строк. Одно дело подтекст как художественный прием, но другое дело попытка сказать между строк то, что куда нужнее было бы сказать прямо.

«Великое искусство», которому человек учится в СССР чуть ли не с пеленок — читать между строк, говорить между строк, — нигде и никогда в истории, возможно, не было так развито, как в СССР, и не было литературы, пронизанной им до такой степени, как советская. Случается, что, читая книгу, ищем в ней и находим такое, что сам автор не думал сказать, а мы умеем даже и это находить.

И все же, хотя писатель иногда тратит на это много сил, далеко не всегда его понимают, а цензура соответственно тоже шлифует бдительность и спрашивает «А что вы этим хотели сказать?» даже по поводу описания продавленного дивана.

Мне в Советском Союзе подалось на глаза стихотворение о народе по имени «И», я его спокойно прочел: ну, народ «И», поэт воспел маленькие народы. И только в Лондоне мне его показывают с восхищением: смотрите, как обманули цензуру, воспели Израиль! Я же недоумевающе хлопал глазами — оказывается, с моим умением, я глядел и начисто проглядел смысл стихотворения. И цензура проглядела, но и я, читатель, проглядел.

В собственных моих произведениях, я уверен, большинство людей не понимало того сказанного между строк, что пропускала, не понимая, цензура. В «Бабьем Яре», например, сказано черным по белому: «Как вы смеете, какое вы имеете право брать на себя решение вопроса о моей жизни: сколько мне жить, как мне жить, где мне жить, что мне думать, что мне чувствовать...», «Сегодня одна фашистская сволочь произвольно устанавливает одно правило, завтра приходит другой мерзавец и добавляет другое правило, пятое и десятое, и Бог весть сколько их родится еще во мгле фашистских мозгов. Но я хочу жить!»

Весь роман — это обвинительный акт всем диктатурам, любому насилию над человеком и не столько прошлому нацистскому, сколько существующему советскому. Но по письмам, обсуждениям, беседам с множеством людей я вынес впечатление, что «Бабий Яр» был принят так, как он выглядел внешне: новые факты о зверствах немецкого фашизма, антифашистский роман, плюс беспокойство о том, что немецкие реваншисты снова поднимают голову. А как же иначе? Я и сам прятал идею поглубже, не ставил точек над «i», а мне потом все мои «и» превратили в «ё», и после этого я хочу, чтобы кто-нибудь меня понял?

Еще хуже: доходит твой намек не столько до простых читателей, сколько до КГБ. Рассказ «Артист миманса» был написан мною как аллегория в защиту простого чело-

века, измученного государственной машиной, в защиту и славу его. Он незаметно прошел в «Новом мире», и никто, даже близкие друзья, ничего особенного в нем не нашли, зато сколько меня допытывали, начиная от тульского КГБ до отдела культуры ЦК: «А что вы хотели сказать этим рассказом? А что обозначает тост за миманс?»

Все это слишком смахивает на игру, на булавочные уколы, эти попытки говорить между строк, они невыносимы для настоящего художника, который по-настоящему хочет писать. Не скажешь так многого, разве что ущипнешь, как анекдот друг другу на ушко расскажем и рады. Только наступаешь себе на горло да наступаешь, и в конечном счете задыхаешься, и видишь, что этими жалкими намеками, этой маленькой борьбой, пробиванием в печать «хоть чего-нибудь» не пошатнешь, не скывиришь эту властвующую профессиональную банду, этих носорогов — для них это только детская щекотка.

Аркадий Белинков говорит, что при искусстве и желании можно сквозь цензуру сказать все, и приводит примеры таких удач. Но он же и оговаривается, что ему везло в какой-то степени. Мне угнетающе не везло, и я смотрю более пессимистически.

Да, потратив много усилий, изобретя намеки, найдя обходные пути, наконец, лобызаясь с Микояном, или выгодную ситуацию поймав (ибо ситуация постоянно меняется), ты что-то где-то сможешь высказать. Но даже и в этом случае ты же не скажешь прямо: «Король голый!» Максимальная степень приближения к правде выразится чем-нибудь вроде: «Послушайте, а ведь король... не совсем хорошо одет, даже... почти не одет». И за это тут же тебя и зацапают: как это ты посмел сказать, что король почти не одет?

Желание иметь возможность говорить «Король голый», освободиться не только от цензуры, но прежде всего от самоцензуры превратилось у меня в манию. Но в СССР я не видел (и сейчас не вижу) никакой возможности писать вольно, по действительно большому счету — и при этом не погибнуть. Либо тебя задушат, либо задохнешься сам.

Я рискну высказать спорные мысли относительно явлений, сомневаться в которых не принято, даже кощунственно, но, поверьте, я много думал над ними, и я сомневаюсь.

Я преклоняюсь перед именем Александра Солженицына, перед именами Синявского и Даниэля, перед именами всех, кто так трагически борется и страдает. Сперва я хочу очень и очень подчеркнуть это, а потом сказать следующее.

Но ведь вынужденная самоцензура есть и у них. Дорогой и тяжелой ценой вплоть до заключения в концлагерь они платят не за полное свое освобождение от самоцензуры, но всего лишь за частичное освобождение от нее.

Для писателя в Советском Союзе нет полного освобождения от наступания себе на горло — есть только разные степени затянутости одной и той же петлей.

Одни затянули себя до конца, все эти присяжные и продажные Михалковы, Алексеевы, Соболевы, Полевые, затянулись цинично, трезво считая, что, живя с волками, нужно быть по-волчьи.

Другие, как, скажем, Евтушенко, Аксенов, Владимов, Быков и другие, мучаются в этой петле, отчаянно крутятся, чтобы ее ослабить. Компромиссная, муторная, безысходная категория, к которой относился я и сам — и не выдержал.

Далее, как показывает опыт, возможны художники, словно бы и не знающие вынужденной самоцензуры, однако, и не преследуемые, творящие в лояльном сосуществовании с режимом. Например, покойный Константин Георгиевич Паустовский. Но это иллюзорная видимость, а люди, знавшие Паустовского близко, скажут, сколько невидимых миру слез заключала его судьба. И он всю жизнь наступал себе на горло.

Незадолго до его смерти мы с друзьями были в Тарусе, ходили к нему. Он говорил, что ему нужно время, очень нужно еще немного времени, чтобы написать книгу о самом себе, о своей жизни, но не так, как она сложилась в действительности, а так, как она должна была бы сложиться, так сказать идеально. О том, как бы он хотел прожить, а не как прожил, потому что прожил он страшно.

В самом деле, он жил в свирепейшее время, вокруг творился сплошной ужас. Он не включился, он отстранился — и писал о вечных ценностях. Это уже был героизм — в тех сатанинских условиях писать о вечных ценностях. Но вот вы живете и пишете о вечных ценностях, а за стеной бандиты режут семью, режут детей, вы слышите крики, но что вы можете сделать один против банды, и вы пишете о вечных ценностях.

Хорошо, не участвовать в коммунистическом терроре, не лгать в его поддержку, а хотя бы молчать и не писать чего-то такого, чего твоя совесть не позволяет, — это уже подвиг. Но с другой стороны это же самое молчание, когда на твоих глазах перерезают горла всем твоим соседям — может, тут не столько подвига, сколько подлости?

Я не обвиняю, не мне обвинять Паустовского. Пытаюсь только разобраться. Послушайте, но ведь какой же это ужасный путь для художника: видеть и молчать. Зажимать себе рот, чтобы не вырвался крик. Что же это, как не самая свирепая самоцензура?

«Не могу молчать» — я это понимаю. А ситуация в России вот уж 50 лет такова, что не вмешиваться в эту ситуацию и не кричать — преступление. Во всяком случае я для себя так считаю и в своей прошлой жизни отдаю себе отчет в этой преступности, уж во всяком случае похвастаться или гордиться нечем, одна трусость, самоцензура, самоспасение и молчание.

Более того, в свете таких рассуждений, я бы сказал, что никому из писателей при советской власти гордиться нечем. Никому.

Потому что уж во всяком случае самоцензурой умолчания зажимают себе рот все. Занимались этим и великий Пастернак, и великая Цветаева, и великая Ахматова, и сегодняшняя уже почти великая Белла Ахмадулина. Она пишет о великих ценностях. Свое отношение к бандитской партии, к окружающему орвелловскому ужасу, или, скажем, к удушению Чехословакии она не высказывает. Синявский и Даниэль, Гинзбург и Марченко в концлагере — Белла Ахмадулина пишет о великих ценностях и будет великой... Нет, я чего-то здесь не понимаю.

За стеной мерзавцы убивают, трупы плавают в крови, а мы вот побеседуем о красоте и глубине человеческой, понамекаем, противопоставим мерзости свои благородные творения и почувствуем себя ох какими благородными гражданами и писателями. Нет, подлинный художник в советском мире так себя почувствовать не может, на нем всегда будет лежать вина умолчания, а значит гордиться нечем.

Может быть, самый великий из живущих писателей земли русской Александр Солженицын имеет полное право гордиться своим трудом? Имеет, конечно, но разве полнее? Солженицыну тоже отлично ведомо вынужденная самоцензура умолчания. Он выступает как антисталинист, разоблачает чудовищные частности советского режима. Но что сам-то режим, сам король — голый, об этом ведь Солженицын не говорит. Он, может быть, предоставляет нам сделать выводы, наталкивает комплексами образов и намеками, всем духом своих книг. Но это уже и есть вынужденная самоцензура.

Мы помним время, когда Солженицын вообще был и дозволен, и расхвален, потому что это совпало с официальной линией, а потом выяснилось, что Солженицын позволяет себе слишком много. Не все, но слишком много. И уже за разоблачение сталинщины, как частности, он стал мучеником. Далеко, далеко не говоря всего того, что, думаю, он мог бы сказать. Да, Сталин и сталинщина — это

частность. А как быть с Лениным и ленинщиной? С коммунизмом вообще? В этих вопросах у Солженицына глухая и плотная самоцензура.

Это ни в коем случае не обвинение. Я прибегаю к крайностям для того, чтобы показать, до какой степени цензурой и самоцензурой в Советском Союзе определяется все, вплоть до таких великих и казалось бы совершенно смелых явлений, как Солженицын.

Только совсем недавно, в письме по поводу его исключения из союза писателей, где он говорит «протрите циферблаты», Солженицын сказал, что близок час, когда подписавшие протокол о его исключении, будут искать, как выскрести свои подписи. Близок час! Это сказано с максимальным послаблением самоцензуры. Это понятно, как: близок час, когда будет уничтожена власть вашей банды. Но можно истолковать и иначе: близок час восстановления ленинских норм и демократизма.

Страшная страна, беспросветная обстановка...

Синявского и Даниэля уже судили, они уже шли в лагерь, но они изо всех сил доказывали, что они — за советскую власть. Это после статьи «О соцреализме», после «Дня открытых убийств». И при этом еще, будучи, как Синявский, верующим в Бога. При этом они остались довольны своей тактикой защиты и гордились ею: дескать, это просто стать в позу мальчиков и сказать в глаза бандитам, что они бандиты и что власть их бандитская, а вот гораздо умнее и труднее провести сложную и политическую защиту.

Но вы меня простите, я опять тут не понимаю. Произошло смещение на суде: судьи-бандиты приводили неопровержимые аргументы, а обвиняемые порядочные люди изворачивались и лгали... Да, объясняется все тактикой борьбы. Один тактически молчит, другой тактически отстраняется, третий тактически недоговаривает, четвертый тактически лжет. Ленин считал тактическую ложь самым законным приемом.

У Чехова есть такая запись, я не помню дословно, но смысл запомнил на всю жизнь: какова разница между гением и посредственностью? Посредственность, видя ложь, говорит: «Да, это ложь, но ситуация такова, что ее нужно терпеть, во всяком случае надо считаться с реальностью, и возможен в этой лжи положительный аспект, и с определенной точки зрения она может быть даже полезна, поэтому пусть пока существует». Гений же говорит: «Это ложь! Она не должна существовать».

Я это привожу все к тому же, что в советских условиях писатель, который бы говорил обо всей лжи именно так, обречен на немедленную гибель, на физическую гибель. Хочешь физически существовать — всю жизнь затыкай себе рот, сдерживай руку, культивируй самоцензуру, но совершенно свободным художником ты не будешь никогда.

К идеалу писателя ты, может быть, приблизишься, на все 90 процентов, может, даже, на все 99, но в академическом, идеальном понимании писатель в СССР не может существовать, как рыба в пустыне, как трава на кафельном полу общественного советского сортира. Может, и вырастут травы на месте его, только когда какой-нибудь катаклизм его разрушит.

Я бы очень не хотел быть понятым превратно: что говорю плохо о людях, чтобы, скажем, оправдать себя. Я говорю об ужасе советской действительности, о невозможности там условий для писательского творчества и привожу примеры, в том числе и себя.

Мне страшно вспоминать себя в тех условиях, каким я был. Я отказался от всех своих книг, изданных там, и от скомпрометированной фамилии, под которой они выходили, как книги автора нечестного, трусливого и конформистского.

Ни в чем не обвиняю других, рассказываю только о своих размышлениях, вопросах и абсолютной советской безвыходности, о невозможности там творчества без цензуры, особенно без своего внутреннего цензора, из-за чего я там больше жить не мог.

После докладов на симпозиуме происходила дискуссия по этим докладом. С любезного разрешения автора мы приводим наиболее интересные отрывки из его дискуссионных высказываний. Мы обращаем внимание читателей на то, что в этих высказываниях сохранен стиль живой устной речи.

*

О советской цензуре

Лично я не встречал человека, который не жаловался бы на цензуру, я имею в виду человека творческого, не встречал ни одного писателя, который был бы доволен существующим положением. Я сюда включаю даже самых ортодоксальных, реакционных, глупых, бездарных. Все жалуются. Вот что интересно. Даже, казалось бы, такие уж распропадавшие, как Кочетов, и тот жаловался мне. Мне лично! И тот был недоволен. Ну, я не знаю; правда он был недоволен с другой стороны. Ему срезают уж слишком явный антисемитизм или что-нибудь такое. И в этом смысле цензура играет прогрессивную роль, потому что она лавирует, она отмечает от сих и до сих. Ведь если бы Кочетову дали волю, он бы такое развел... Впрочем, я согласен. Дайте ему волю, но с условием, чтобы всем дали волю. Есть и еще одна сторона этого вопроса. Для многих это очень удобная форма скрывать свою творческую импотенцию. Он издал какую-то книжку, бездарную, поганую, а сам ходит и намекает, что это ему цензура испортила. И так многие поддерживают иллюзию, что они очень талантливы. А когда его копнешь, то оказывается, что никто ему ничего не портил. Он больше всего сам себе портит.

Но вернемся к цензуре. Вот несколько примеров.

В «Новом мире» я опубликовал роман «У себя дома». Когда я его принес, Твардовский вызвал меня на следующий день: «Скорей, скорей приезжайте! Вас вызывают!» Я приезжаю, и он мне с восторгом трясет руку и кричит, что он всю ночь напролет читал, ночь не спал, ожидает, что после будет следующее ударное произведение и т. д. Он согласен, только давайте вот тут усилием и прочее. И, пользуясь своим знанием деревни, он мне кнут предлагает назвать батогом, а о навозе написать, что он пахнет хорошо, а то у меня почему-то пахнет плохо. И все это так мило. Собрались все главные лица, и передают Герасимову для конкретной подготовки, только для улучшения. Я счастлив. Я на седьмом небе и летаю на крыльях.

Затем Герасимов мне говорит: «Но вот какое дело. Начинается роман сценой столкновения поездов на железной дороге. Катастрофа. Катастрофу цензура не пропускает даже в художественном произведении. Нельзя. Это придется убрать». Мне очень жаль, это было такое динамичное начало, но я потихоньку соглашаюсь. Итак, первую главу, такую яркую, придется убрать, но все остальное останется. Отлично. Но нет, надо еще кое-что выбросить. В церкви бригадир совхозного отделения, напившись пьяным, кричит, что вокруг одни носы по ветру, как флюгеры, поворачиваются. И он всю жизнь жил как нос. То, что одни носы, и что Россия полна носов, это, конечно, убрать надо, говорит Герасимов. Ладно, говорю, уберем, потом когда-нибудь опубликуем. Но больше ничего. Хорошо.

Затем я уезжаю в Тулу, и начинаются звонки Герасимову. Примерно через день звонок. Я уже возле телефона держал рукопись: откройте страницу такую-то, вот это мы выбросим. Зачем? Почему? Нельзя! Они не пропустят! Потом опять: вот это мы выбросим. И как начали выбрасывать, как начали, это длилось недели два или три, не знаю. Это был какой-то кошмар. Как звонок, я вздрагиваю и бегу. Но я доверяю «Новому миру», если «Новый мир» говорит, что нельзя, значит нельзя.

И вот на протяжении этого месяца обработки оказалось, что от романа остается ровно половина. Половина! Причем убирается лучшее, главное, центральное, ради чего я его написал.

Это был очень странный роман, как у Гофмана, скажем, «Кот Мур», перепутаны страницы, то кот пишет, то музыкант пишет. Так вот, говоря образно, мне всего «музыканта» выбросили, а «кота» оставили. Роман был о сельском хозяйстве, о доярке, которая от каждой фуражной коровы надоила по 4000 литров молока. И даже вымпел и часы получила. Но это было только для формы. Это была ироническая сторона. А там шла другая, главная, фундаментальная. Вот все это главное шаг за шагом вылетало, вылетало, вылетело. И вдруг я с ужасом увидел, что из романа получился еще один обыкновенный роман на сельскохозяйственные темы. Причем ужасно банальный. Потому что я издевался над банальным построением, а это издевательство превратилось в полную серьезность.

И это делает со мной «Новый мир»! Я прихожу в ужас и говорю: «Так стойте, тогда не будем печатать». А они говорят: «Да и в самом деле не будем печатать, такая ситуация, что даже в таком виде нельзя». Так он и застрял, и лежал там год. Сначала восторгались, потом испортили, изрезали, и все равно нельзя печатать.

Я тогда говорю: «Понесу куда-нибудь в другое место». Они отвечают: «Неси, мы не можем печатать». Беру я эту рукопись и несю в «Юность». В «Юности» они мне сразу честно говорят: «Ну, Толя, то, что «Новый мир» тебе второй план выбросил, это правильно. Об этом даже не может быть и речи. Но вот деревня у тебя страшна, ее нужно лакировать. Садись и лакируй. Тогда будем печатать». Я забираю и несю в их антипод, в журнал «Молодая гвардия», причем делаю такой ход: говорю, что вот «Юность» отвергла. Для них это очень серьезный аргумент, чтоб внимательно прочесть. И надо отдать им должное, они прочитали внимательно, в коридоре пожали мне руку, сказали: «Ну, получили огромное удовольствие. Читается за поем. Но ты, конечно, не дурак, понимаешь, что печатать этого никто не будет». И вернули. Даже без рецензии. Спасибо — честно!

И тогда мне добрые люди говорят: «Пойди-ка ты к Кочетову. Бывают же парадоксы. Только скажи, что отверг «Новый мир»». Пошел я к Кочетову, и он очень долго читал. А потом все-таки позвонил: приезжайте. Холодным тоном. Я уже знаю, что не прошел фокус. Он говорит: «Я не знаю, чего они там боятся. Что Твардовскому не понравилось? Я считаю, все нормально, идейно, правильно. Вы говорите, что смело? Какое смело! Я сам куда более смелые вещи пишу. Все правильно. Но у нас, конечно, тоже не пойдет. Я просто удивляюсь, почему у вас такой провал. Это же бездарно. Вы автор того-то, сего-то, и написали такую бездарную книжку. Простите меня, но я вам как друг, честно в глаза скажу правду».

И от него я ушел, забравши эту рукопись под мышку. Она очень долго лежала, а потом звонит Герасимов: «Ну так вот если мы выбросим еще такую и такую главу, так есть возможность напечатать». А тут вступает другой фактор, — фактор денежный. Я всегда сидел с долгами на шее, с этими авансами, и вот встает вопрос: либо возвращай аванс, либо давай напечатать. Я говорю: «Давайте напечатать, только я серьезно прошу, замените мою фамилию, поставьте А. Ковалев». Они сначала заартачились, им имя тоже важно, но потом согласились. Ставят А. Ковалев, так пусть идет макулатура, чтоб погасить долги. Потом приносят мне гранки: там напечатано «А. Кузнецов». Обычно я печатался «Анатолий Кузнецов», полным именем, т. к. был еще Андрей Кузнецов. Так вот они говорят: «Мы вам на уступку идем: А. Кузнецов. Неизвестно какой. Их много».

Еще один пример. Возьмем все тот же уже надоёвшийся «Бабий яр». Принес я в «Юность», и первым цензором была Мария Лазаревна Озерова, жена критика Озерова, фигуры одиозной. Она в разговоре с вами покажется

чрезвычайно милым, прогрессивным и абсолютно все понимающим человеком. Она делает предварительную цензуру, такую мягкую еще. Совершенно уверенно указывает мне на некоторые места. Ну, вместе с ней мы думаем, горюем и, так сказать, горюя, их вычеркиваем, или же перedefиуаем.

Затем все это идет в высшие инстанции, начинают читать уже боссы журнала, читает Полевой, читает его заместитель Преображенский, читает ответственный секретарь Железнов, а также кто-нибудь из редколлегии. Обычно читает Прилежаева. Это страшно, когда она читает. Это ужасная женщина! Ничего не понимает, но рассуждает очень здорово. Того, что мы с Озеровой вычеркнули, они уже больше не читают. Получается очень интересная многоступенчатость. А я уже на первой ступеньке понервничал, что скрепя сердце согласился: ну ладно, пожертвую тем и другим. Теперь, на второй ступеньке, идут более решительные хирургические вмешательства. Борис Полевой сразу целые страницы зеленым карандашом перечеркивает. И сбоку пишет «МЗ» или «22». Это его юмор. 22 — перебор в игре в очко, значит, все это перебор, далеко заехали вы в своих либеральных взглядах. А «МЗ», простите, по его терминологии «младозасранец»! Как «младогегельянец», что ли. Вот это «МЗ» мне снится по ночам до сих пор. Сейчас, восстанавливая текст «Бабьего яра», я с огромным удовольствием вспоминаю — о, и тут «МЗ» стояло! И тут «МЗ» стояло! И я все эти «МЗ» восстанавливаю.

И опять-таки начинают убеждать, что нам этого не пропустят. Нет, нет! Толя! Толя! Нельзя! Нельзя! А то вся вещь будет зарезана!

И вот уж тут я дохожу до истерики. Ни один мой роман не выходил без этого состояния, когда я доходил до какой-то белой горячки, спорил, дказывал, отстаивал каждую фразу.

Вот у меня немцы въезжают; у них кони с такими золотыми гривами, огромные мохнатые ноги. Они показались бы гигантами рядом с нашими русскими лошаденками, на которых отступала красная армия. Стоп! Почему немецкие кони лучше советских? Правда, у меня в конце романа есть фраза, что отступали немцы на дохлых русских лошаденках, и не было ни одного тяжеловоза. Вероятно, все передошли в России. Я говорю: есть у меня нейтрализация этого. А они на это говорят: читатель забудет про это, пока дочитает до конца, а то, что у немцев кони были лучше наших, это он запомнит. Так вот на этом я уже дошел до истерики. Я уж не говорю о более серьезных вещах. Потому что о серьезных вещах можно как-то теоретизировать, а тут уж не знаешь что сказать. И вот, когда синклит этих богов сидел в кабинете и мне все шаг за шагом: «Нужно вычеркнуть, вычеркнуть!» тут я завопил и сказал: «Давайте мне рукопись. Я не желаю этого печатать. Пусть лежит в столе, где угодно! Я не буду печатать с такими сумасшедшими исправлениями!» А они говорят: «Нет! И рукопись вам не отдадим и печатать будем». Я кричу: «Это моя рукопись. Я не желаю печатать. Все. Я расторгая с вами отношения!» Они говорят: «Нет не расторгнете. Нет, все-таки делаете, как мы хотим». Это так цинично было. Такая жуткая сцена. Меня просто всего колотило. Я кинулся к столу и стал выхватывать рукопись. Они держали, она стала распадаться. Все-таки я выхватил, выбежал на улицу, как сумасшедший бежал по улице Воровского, рвал в клочки и во все урны закидывал до самого Арбата. Все урны забил, чтоб ее нельзя было обрвать по клочкам. И затем десять раз себя проклинал, зачем я в эту литературу пошел.

А потом оказалось, что это был один экземпляр, а второй остался. Я не знал, уехал, думал, что все благополучно, «Бабьего яра» не будет, я и слов этих слышать не хотел. А потом они мне звонят и говорят: «Ну, так мы все это сделали за вас. И вы знаете, хорошее положительное мнение пришло оттуда». А «оттуда» — это значит из ЦК.

Эту рукопись они уже сами сделали, перепечатали без всего, что было отвергнуто. И тут начинается следующий этап. Тут я уж молчу, сдался им внутренне; или не сдался, но опустил руки и стою, значит сдался. Я уже успокоился. Только тупо смотрю, что же происходит дальше. А они мне лишь показывают, что они вычеркивают. Нет, мне не надо самому работать. Не расстраивай, мол, себе нервы. Они сами все это сделают. Еще раз переписывает машинистка, не за мой счет, за счет редакции, я ничего не знаю. И получается еще более кургузый текст. Уж такой странный, все наоборот, все вверх ногами. Там, где я пишу, что Лавру взорвали энкаведисты, то там Лавру взорвали немцы! Там, где я рассказываю, как человек чудом спасся из Яра, и его опять предали местные жители, выходит, что не местные жители, а немцы его все-таки схватили. И так далее. Все наоборот.

И после этого, наконец, наступает формальный акт, когда они несут рукопись цензору.

И на этом последнем этапе я уже совершенно распластаный. Я уже сдавшийся. Я лежу на лопатках и думаю: «Боже мой, ну ладно, все пропало, но вот этот кусочек еще остался. Он еще пойдет. Он был мне дорог, как-нибудь он пройдет». И вдруг мне говорят: «Вот этот-то кусочек и надо выбросить!» «Почему? Вы же соглашались!» «Нет, вы знаете, есть такое мнение! Нет, вы знаете! Они!» «Кто они?» «Они не пропустят!» Кто они?» — кричу — «Покажите мне их. Я им докажу, что этот кусочек хороший, безобидный». Но уж, конечно, никогда, ни разу мне не удавалось узнать, кто же эти «они». И никогда меня к ним не допускали. Но это и были вот эти полицейские, последний этап. «Они».

А когда начнешь искать, кто же эти «они», то получается, что вот Иван боится Петра, Петр боится Семена, Семен боится Емельяна, и все выше, все выше, и все это сходится, как в пирамиде, в конечном счете в Брежнев, вероятно, или я не знаю, в ком.

Это очень странная система, когда все всех боятся, и в конечном счете не знаешь, кто кого боится. Кажется, все боится некоей абстракции, и вся машина работает на эту абстракцию. И вся беда именно в этой системе, и во всем строе, этом странном, совершенно еще не понятом и не разобранным, по-моему. Потому что там теряешься. Да, что-то происходит, какой-то процесс. А для кого, для чего это, никто не знает. Но все это делают.

И вещь убита. У меня выходили четыре крупных работы. И это были четыре крупнейших черных дня в моей жизни. Я не испытывал ни малейшего счастья и радости, когда они выходили. Я читал, и у меня в глазах темнело. Всегда это было так страшно.

*

К вопросу, следует ли в свободном мире расшифровывать эзоповский язык советских писателей, или это для них опасно.

Я никому не навязываю своего мнения, но абсолютно и категорически придерживаюсь того мнения, что этот эзоповский язык нужно разбирать и расшифровывать.

Во-первых, я дам показания как свидетель: я только гордился, для меня было огромным удовольствием, когда моя книга «Продолжение легенды» вышла в антисоветском оформлении и с антисоветским уклоном.

Правда, когда мне предложили организовать целый процесс, я его организовал, о чем я и написал здесь в печати. Это уже все относится к области существования человека в этом «орвелловском» мире.

Но я говорю сейчас о глубинах сознания и о глубинах совести. И если начистоту спросить любого из известных мне писателей, моих друзей, то все они безусловно, как и я, будут только горды тем, что их «эзоповщина» расшифрована.

Там сейчас же кричат: «Вот видите, вы дали пищу этому отребью», а мы отвечаем: «А какое нам дело до отребья? Вы же сами говорите «отребье», ну и хорошо, пусть себе это отребье говорит, не можем же мы со всяким отребьем считаться», а про себя думаем — а как хорошо, что это «отребье» нас поняло. Значит, мы все-таки что-то сумели донести.

Я был здесь просто потрясен: читаю, что какое-то издательство решило, «чтоб не повредить Солженищину» не выпускать такого-то его романа. Во-первых это не эффективно. Все равно он был выпущен. А во-вторых, это неправильно, тактически и стратегически совершенно неправильно. Если поэт даже в провинции пишет стихотворение, и в нем ему что-то такое удалось сказать, и это уже дошло до типографской машины, и пошло, и пошло, продается в киосках, то какая это радость. Теперь пусть любое «отребье» разбирает, только бы разобрало!

Я объясняю психологию автора. Я говорю, что мне неизвестны такие авторы, которые в глубине души не были бы довольны. Случаев столько же, сколько и людей, вероятно, есть и такие авторы, которые из каких-либо соображений передают просьбу, пожалуйста, не хвалите меня, а ругайте. И с этим надо считаться. Но я говорю о типичном отношении автора, и я хочу просто опять-таки в таком лирическом порядке сказать, что я потрясен именно вот этим, этой заботой. Да подождите, что вы обо мне заботитесь? Не заботьтесь, ради Бога! Эта забота мне как раз мешает. Там, понимаете ли, «эзоповщиной» должен заниматься, там себе замок на губу вешаешь и себя замыкаешь! Там самоцензурой этой проклятушкой занимаешься! Так, Господи, а вы тут тоже! А вы тут еще, в этом же ключе работаете! Вы, имеющие такие условия, когда вы можете все это, наконец, раскрыть! И если вы так делаете, то вы оказываете мне не услугу, наоборот, вы мне медвежью услугу оказываете.

Я высказываю это как автор. Я был бы только доволен, если б меня здесь побольше расшифровали. И когда я буду отбиваться, то буду знать, что я делаю, и за что отвечаю. Если опубликовал, то и держись, отвечай за это, и гордись тем, что тебя подхватили на Западе. Вот это есть борьба, это есть война.

Это одна сторона дела, чисто моральная. А есть и другая сторона, я бы ее назвал, так сказать, практической. Слушайте, не будьте вы наивными. Вы думаете, что если

вы расшифровали какое-либо великолепное стихотворение новосибирского поэта, то написали нечто вроде доноса на него туда, в Россию, и вы боитесь, как бы ему это не повредило. Не беспокойтесь, вы не напишите доноса лучше того, который поступил после выхода в свет этого произведения. Вы недооцениваете института стукачества в советской России. Это такая великолепная штука. Люди просто там из кожи вон лезут. Боже ты мой, с каким удальством тульская писательница Барыгина после выхода в свет «Матренина двора» бегала и всем, также и в обкоме, кричала, что это «клевета» на советскую деревню, как, мол, это пропустили, как напечатали? Она это громко говорила. А сколько негромких бегут сейчас с журналом под мышкой: «Смотрите, смотрите, что случилось!» Не бойтесь, они его уже сто раз взяли на заметку, пока дойдет ваша статья. Он уже взят, на него уже досье заведено, за ним уже наблюдения установлены, его телефон уже подслушивают.

Я совершенно великолепно отбился с процессом во Франции, и меня ставили в пример Солженищину, видите, мол, как нужно обращаться с этим «отребьем». Я был на такой великолепной заметке, и все равно восемь лет был окружен и затравлен как волк, со всех сторон флажками обложен, и каждый мой шаг был под наблюдением, хотя как будто и все правильно сделал. И никакая, никакая статья на Западе в самом антисоветском плане, написанная обо мне, повредить мне больше не могла бы. Нет, то не было бы доносом или продажей. Это в моей общественной деятельности могло бы мне пользу принести. Когда поэт пишет стихотворение, он мечтает о максимально большой аудитории, и если эта аудитория расширяется в международном плане, то это только хорошо.

Вот эти два аспекта: с одной стороны, это только для моей пользы, что обо мне говорят, а с другой стороны, что и без вас я прекраснейшим образом взят там на заметку, и позволю мне сказать, что если мне удастся расшифровать самого моего лучшего, уважаемого друга, если он напишет значительное, то я это сделаю. И если, когда-нибудь случится встретиться, я уверен, что он мне только спасибо скажет за то, что я так хорошо его преподнес, популяризировал, дальше объяснил, что он хотел сказать. А уж как он там будет бороться, это другое дело. Он знал, на что идет. Это мужество у него должно быть. И я не думаю, что ему это повредит. Разве что в исключительных случаях, с которыми, конечно, надо считаться.

Александр ВАРДИ

Кто же все-таки „глупец“ и кто „провидец“?

(Об одной полемике философов)

Не первое десятилетие «спускаются» с советских верхов призывы и требования «разоблачать идеологическую диверсию...» И армия штатных писарей, приставленных «давать отпор» «в поте лица» и «не покладая рук», палит из всех идеологических пищалей.

За многие годы советской идеологической агрессии в цехе мастеров пропаганды сложились ремесленные навыки и ухватки, способы преподнесения лжи и приемы охаивания, оклеветания всего, что прикажут, стандартные клейма и штампы, как и методы: передергивания фактов, извращения цитат, жонглирования фразой и демагогии. Типична для такого рода «разоблачителей» стрельба по намалеванным ими же «мишеням-жупелам».

По правилам такой «баталии» «разоблачитель приписывает объекту проработки — теории или идеи, которые

приказано «раздраконить». В этом случае от читателя полностью или почти полностью или существенно скрываются основные идеи критикуемого произведения. Как правило, цитаты вырываются из контекста, произвольно сочетаются и передергиваются, затем обрабатываются на прокрустовом ложе тотального извращения смысла при помощи мешанины из лжи, полуправд и тривиальных, маскирующих ложь истин.

Однако этот метод тотального обольщения настолько скомпрометирован, что писарям из службы идеологической контрразведки приходится прибегать сейчас к более изощренным приемам. Один из них состоит в том, что критикуемое произведение печатается в советской печати и, таким образом, читатель, формально, получает возможность судить, обоснована ли критика этого произведения.

Скрытый подвох этого способа «отпора идеологическим противникам» состоит в том, что для такого наглядного единоборства тщательно отбирается оппонент. Выбирается такая западная публикация, к которой, по мнению советского «проработчика», можно придаться с тем, чтобы использовать такую полемику хотя бы для внутренней пропаганды. О пропаганде, убедительной для всех (о действительной пропаганде на экспорт) вряд ли мечтает сейчас опытный «проработчик» советского «Идеологического фронта». Он знает: это ему не по плечу.

Выбрав объект проработки, советский полемист сокращает, по своему усмотрению, перевод статьи своего западного оппонента, использует возможность извращения смысла фраз или отдельных понятий при переводе путем формально буквального, а фактически неправильного, недобросовестного перевода. Затем следует «разнос» в духе пресловутой «партийной страстности» со ссылкой на то, что «ненависть наша велика и поэтому мы не можем быть беспристрастными». Под знаменем партийности политики, науки, культуры и т. д. полемист советского «Идеологического фронта» призывает, требует отрешиться от «академического объективизма» и «общечеловеческих норм морали», поскольку все это противоречит интересам так называемого «атакующего класса», точнее — руководства КПСС.

Все эти особенности нынешней советской идеологической полемики отчетливо обнаружили себя в одной публикации в «Литературной газете». Мы имеем в виду полемику между заведующим кафедрой философии сибирского отделения Академии наук СССР И. Матвеенковым и автором статьи в западногерманском журнале «ФДИ-Нахрихтен» доктором Юргеном Гейнрихсом.

И. Матвеенков выискал в малораспространенном, малоизвестном журнале статью малоизвестного автора и объявил ее средоточием главных мировоззренческих идей Запада. По этим идеям и открыл Матвеенков «беглый огонь».

На самом же деле статья Ю. Гейнрихса — не теоретическая работа. Гейнрихс не обсуждает философские и шире — мировоззренческие проблемы; он не предлагает новые обществоведческие идеи. В своей статье, рассчитанной на тех, кто наблюдает со стороны за развитием философии, Гейнрихс делится своими мыслями о современной роли этой науки и о некоторых организационных аспектах ее развития.

Отсюда и стремление Гейнрихса к популярности, занимательности изложения, к нарочитой игре парадоксами, к провоцирующим заявлениям и, как пишет Матвеенков, к «полюемическому перехлесту»... «на что не пойдешь при желании заинтриговать читателя, привлечь его рассеянно-скужающий взгляд», — пишет Матвеенков.

Таким образом И. Матвеенков признал, что Гейнрихс опубликовал не теоретическую, не философскую работу, а статью «легкого жанра» для широкого круга читателей, проявляющих интерес или даже поверхностное любопытство к гуманитарным проблемам. Это не помешало Матвеенкову представить статью Гейнрихса типичным продуктом «кризиса буржуазной философии» и на этом основании с «животной серьезностью» наброситься на созданный таким образом жупел западной «империалистической идеологии».

И. Матвеенков игнорирует подлинный смысл статьи Гейнрихса. Придравшись к «декоративной лексической нагрузке» этой статьи, Матвеенков приписал Гейнрихсу «отрицание» философии.

«Я думаю, — пишет И. Матвеенков, — было бы ошибкой объяснять появление статьи Гейнрихса только стремлением автора к экстравагантности. Дело в том, что сама по себе тенденция «отрицания» философии сегодня довольно распространена среди интеллигенции Запада... Всевозможные нигилистические тенденции охотно подхватываются пропагандой — постольку, поскольку смы-

каются во многом с модной и фальшивой концепцией «деидеологизации», «конца философии».

Таково основное обвинение, выдвинутое И. Матвеенковым против статьи Гейнрихса. Оно рассчитано только на советских читателей с «рассеяннo-скужающим взглядом» потому, что человек, прочитавший статью Гейнрихса с начала до конца, без труда убедится, что Гейнрихс не «отрицает» философию. Наоборот, он довольно подробно говорил, в своей статье, о современных задачах этой науки, о ее специфической и незаменимой роли.

Гейнрихс писал:

«Вопрос о человеке возникает всякий раз заново и всякий раз подхватывается философией. Ответ на него нельзя откладывать, и философия, спасавшая перед ним, тем самым капитулирует. Основной опыт человечества, возможность человека ставить вопросы и необходимость действовать, иными словами, теоретическая и нравственная сферы разума — вот что служит предпосылкой для деятельности философа и вселяет в него надежду».

Таким образом Гейнрихс не «отрицает» философию и даже не упоминает о деидеологизации. Но какое дело до этого Матвеенкову? Ему нужно любой ценой взобраться на пегаса известных со школьной скамьи тривиальных аргументов и затем «палить».

«Прежде всего, этот нигилизм можно легко понять... — пишет И. Матвеенков. — Неумение и нежелание объяснить объективно происходящие общественные процессы приводят буржуазных философов к отказу от широких мировоззренческих проблем... Это, конечно, тоже в своем роде философия... Наивно однако думать, что такая философия просто безразлична, просто «бесполезна» для общества. Оно все равно испытывает на себе ее влияние. Только это вредоносное, разлагающее, антигуманное влияние. Антиинтеллектуализм буржуазной философии проник во все слои капиталистического общества — сверху донизу, обретая черты так называемой «жизненной» философии».

Стоит ли опровергать эти выпендренные стертые слова? Стоит ли напоминать, что бессмысленно оценивать «буржуазных философов» как нечто идейно монолитное, что среди философов, которых Матвеенков, его коллеги и хозяева называют буржуазными, есть не только оригиналы, использующие возможность «самиздата», но и мыслители, так опровергающие советскую философию, что последней «крыть нечем»?

И. Матвеенков приписал Гейнрихсу и всему так называемому буржуазному обществу «отрицание» философии только для того, чтобы заявить, что это «отрицание» — неизбежное следствие несостоятельности, антинаучности, «нищеты буржуазной философии». Постулировав это, И. Матвеенков открыл ворота потоку безудержных восхвалений «единственно-научного марксистско-ленинского мировоззрения».

Несомненно, И. Матвеенков пытался дать очередной отпор так называемому западному мировоззрению. Но в этом ли главная цель его статьи? Не полемизировал ли он, главным образом, с советскими «нигилистами», «отрицающими» советскую философию?

Вспомним, что писал о философском нигилизме советской интеллигенции известный советский публицист Г. Волков.

«Философия (речь идет о советской философии — А. В.), — писал он, — стала у нас притчей во языцех. «Философ» в среде физиков и математиков звучит как оскорбление. Занятия философией рассматриваются как потеря времени в ущерб настоящему делу».

Можно привести много таких же жалоб, проникших в советскую печать. Они вызваны как раз теми качествами советской философии, которые И. Матвеенков приписывал так называемой «буржуазной философии». Советские читатели статьи И. Матвеекова убедились, что в свете современных знаний, с позиций современного научного мировоззрения, советская философия несостоятельна, псевдонаучна и поэтому реакционна.

Советские читатели знают, какое влияние оказала советская философия на развитие науки и культуры, на социально-экономическое развитие СССР. Ведь этой философией, как писал в упомянутой статье Г. Волков, «отводилась роль всеобщего надзирателя над науками, которые того и гляди, ударятся во что-нибудь недозволенное». В результате, как пишет далее Г. Волков, «философы выступали с нападками на теорию относительности Эйнштейна. Разве не философы клеймили кибернетику, как лженауку? Из статей и книг философов с бранью по адресу классической генетики и ее продолжателей можно составить библиотеку».

Как известно, «надзирательница наук» не только запретила физический релятивизм Эйнштейна, квантовую механику, кибернетику, генетику, парапсихологию, классическую психологию; теорию резонанса, бионику, подлинную социологию, правдивую историю и т. д., но и несет прямую ответственность за массовую ликвидацию ценнейших научных кадров.

Не ясны ли истоки закономерного и оправданного «философского нигилизма» в советском обществе? По-видимому, главным образом против него и ополчился И. Матвеенков, формально придравшись к так называемому «западному философскому нигилизму», якобы проповедоваемому Ю. Гейнрихсом.

Что же можно сказать об аргументах, которыми И. Матвеенков защищает советскую философию?

Эти аргументы отнюдь не блещут ни новизной, ни оригинальностью. И. Матвеенков утверждает, что марксистская диалектика — это единственно научный метод изучения всех процессов развития и «в этом огромное методологическое значение диалектического материализма — подлинно-научной философии современности».

Матвеенков восхваляет, конечно, метод «раздвоения единого», основанный на убеждении, что саморазвитие импульсируется борьбой противоположностей.

На самом же деле саморазвитие обуславливает, импульсирует не только противоречия противоположностей. Кро-

ме них в процессах развития принимают «равноправное» участие другие факторы: нейтральные, промежуточные, воздействия внешних процессов, микрофакторы, катализаторы, случайность и другие. Естественно, что этому многокомпонентному процессу не свойствен однозначный марксистский детерминизм. Реальным многокомпонентным процессам развития свойственны вероятностные закономерности.

Что могут ответить на эту концепцию доктор Матвеенков, его коллеги и хозяева? Все они выискивают для полемики оппонентов, которых надеются одолеть «не мытьем, так катаньем». Почему же упомянутые советские теоретики избегают подлинно-научной полемики с лучшими работами проживающих на Западе теоретиков — немарксистов и антимарксистов?

Почему бы И. Матвеенкову не выступить в советской печати с деловой недемагогической критикой, скажем, известной и в СССР книги Уолта Ростоу «Стадии экономического роста»?

Пусть профессор Матвеенков «проработает» в советской печати следующие две статьи, опубликованные в западной печати по-русски:

1. В. Пирожкова — «Критика материалистической диалектики», журнал «Зарубежье» № 3, сентябрь 1969 г.
2. А. Варди — «О диалектике коммунистической философии», «Сообщения Института по изучению СССР», № 22, 1969 г.

Только пусть проф. Матвеенков поступит с этими статьями так же, как он поступил со статьей Ю. Гейнрихса. Пусть он напечатает их одновременно и рядом со своей критикой этих статей. Приглашаем проф. Матвеенкува к полемике. Пусть он докажет, что к нему не относится поговорка: «Молодец против овец, а против молодца — сам овца».

Мы надеемся, что только в результате такой полемики можно дать научно-обоснованный ответ на вопрос, которым озаглавил И. Матвеенков свою статью: «Кто «глупец» и кто «провидец?»»

Письма в редакцию

*

В № 1 (21) от марта 1969 г. «Зарубежье» было напечатано мое открытое письмо в редакцию советского философского журнала «Вопросы философии». Это был мой ответ на выпады, сделанные против меня г-ном Ойзерманом в январской книжке журнала «Вопросы философии». Как и следовало ожидать, журнал «Вопросы философии» моего открытого письма не напечатал, так же и г-н Ойзерман мне лично ничего не ответил.

От 31 марта до 3 апреля 1970 г. в г. Рочестер, США, состоялся международный философский конгресс, посвященный Канту. На этом конгрессе мне снова пришлось встретиться с г-ном Ойзерманом. Он подошел ко мне, и на мое замечание, что редакция «Вопросов философии» весьма труслива, т. к. побоялась опубликовать мое письмо, он ответил, что хотел было отвечать на мое письмо, но редакция

решила иначе. Затем г-н Ойзерман предложил мне дискуссию на страницах какого-либо западного журнала. Я ответила, что это возможно, но, к сожалению, дискуссия, опубликованная в западном журнале, не дойдет до читателя в Советском Союзе, тогда как я хотела бы, чтобы такая дискуссия дошла именно до читателя в Сов. Союзе. На это г-н Ойзерман заявил, что западные журналы свободно лежат в библиотеках Сов. Союза. Я осведомилась, лежат ли там также и издания, выходящие за границей на русском языке. На это г-н Ойзерман промолчал. Затем он предложил мне написать статью в «Вопросы философии». На мой вопрос, неужели такую статью бы напечатали, он ответил, «неинтересные места» (для кого неинтересные?) бы выкинули, но прежде спросили бы меня. На мой вопрос, может ли он гарантировать, что мою философскую статью напечатали бы в «Вопросах философии» без искажений и пропусков, сделанных без моего ве-

дома, г-н Ойзерман уклончиво ответил, что он только член редакции и ничего гарантировать не может.

Все, кто хоть немного знакомы с работой советской цензуры, понимают, что предложение г-на Ойзермана было пустыми словами или ловушкой: так как, или статья не была бы напечатана вообще, или под моим именем напечатали бы нечто такое искаженное, что было бы стыдно за свою подпись. Обжаловать самоуправство редакции в Сов. Союзе негде. Советский суд не принял бы такой жалобы, а советская пресса не поместила бы о ней сообщения. В Сов. Союзе нет ни свободной прессы, ни независимого правосудия.

Я указала г-ну Ойзерману на то, что в Сов. Союзе не печатают не только философских статей, написанных не в марксистском духе, но даже талантливых литературных произведений, например, Солженицына, если они не подходят идеологической диктатуре. Г-н Ойзерман спросил, известно ли мне, что именно из произведений Солженицына напечатано в Сов. Союзе. Я ответила утвердительно и перечислила их, забыв при этом маленькую вещичку «Куликово поле», тогда г-н Ойзерман гордо добавил: И «Куликово

поле». Да вот, «Куликово поле» напечатали, а важнейшие его произведения, «Раковый корпус» и «В кругу первом», так и остались там ненапечатанными.

В заключение г-н Ойзерман сказал мне, что редакция «Вопросов философии» нашла мое письмо «философски неинтересным» и потому не опубликовала его в своем журнале. Я ответила, что дело обстоит как раз наоборот: если бы редакция нашла письмо философски неинтересным или нелепым, то она бы его непременно напечатала, указав при этом, как неумны критики марксизма. Но именно оттого, что письмо было философски интересным, его и побоялись напечатать.

Теперь я предлагаю г-ну Ойзерману, если он хочет вести со мной дискуссию, но не может этого делать на страницах журнала «Вопросы философии», то пусть он напишет свой ответ или статью в «Зарубежье». Нет сомнения, что редакция опубликует его статью дословно, не выпуская «неинтересных мест». Я готова дать ответ на нее.

В. Пирожкова

*

21 апреля 1970 г.

Многоуважаемый
господин редактор!

Благодарю Вас за пересланное мне письмо, адресованное Вашей редакции.

Из письма я узнал о том, что в Вашем издании была перепечатана моя статья «Западная интеллигенция, советская оппозиция и свобода, которой угрожает смерть».

Я очень рад тому, что моя работа была опубликована изданием, к которому я отношусь с большим уважением. Всякий раз, когда мне встречаются номера «Зарубежья», я читаю их с истинным интересом.

Если Вас не затруднит, пожалуйста, пришлите мне один-два экземпляра с моей статьей.

С искренним уважением Ваш
Аркадий Белинков

25 апреля 1970 г.

Глубокоуважаемый
господин редактор!

Получил декабрьский номер Вашего журнала.

Сердечно благодарю Вас.

В середине мая моя жена и я будем в Мюнхене, где проведем, по-видимому, много времени.

Я надеюсь, что мы непременно встретимся с Вами.

От души желаю Вам здоровья и счастья.

Ваш
Аркадий Белинков

От редакции

Этой встрече, к великому прискорбию редакции «Зарубежья», не суждено было состояться. Аркадий Викторович Беленков скончался за несколько дней до срока, намеченного им для отъезда из Соединенных Штатов в Европу.

Недолгий срок — неполные два года — довелось Белинкову прожить в свободном мире, немного лет (если вычесть из его жизни годы, проведенные в советских тюрьмах и ссылках) смог он посвятить творческой работе, и все же след, который он оставил в литературе, в литературоведении, в политике — неизгладим...

Жизнь Белинкова могла бы быть названа исключительно трагической, если бы мы не знали, что для талантов этого поколения — год рождения 1921 — трагическая судьба была скорее правилом, чем исключением.

Белинков, поступивший в Литературный институт им. Горького по рекомендации Бориса Пастернака, уже в первом своем романе осмелился выразить критическое отношение к советским политическим мероприятиям. При этом он говорил как бы от имени всего своего поколения, с детских лет воспитывавшегося на непримиримости к фашизму и воспринявшего пакт между Сталиным и Гитлером как удар в лицо. Белинков закончил свое произведение во время второй мировой войны, а попытки к его публикации предпринял в 1944 году, когда уже видно было, какой дорогой ценой заплатило в первую очередь именно его поколение за это не только аморальное, но и грубо ошибочное решение. Но Сталин не прощал другим своих ошибок, а лучше того памяти о них. Молодой писатель был арестован.

Во время следствия Белинков не раз подвергался пыткам за отказ подписать заранее заготовленные «показания». Он был приговорен к расстрелу и провел 72 дня в камере смертников, прежде чем этот приговор был «милостиво» заменен восьмью годами тюрьмы. Позднее этот срок был автоматически продлен, и Белинков переведен из тюрьмы в лагерь особого режима в Северном Казахстане — тот самый, в котором позднее находился Солженицын.

После признания его приговора судебной ошибкой Белинков вышел на свободу (поскольку этот термин применим к пребыванию вне тюрьмы, но в границах Советского Союза) большим физически, но не сломленным духовно и не пошел по пути приспособленчества. Принятый было преподавателем в Литературный институт им. Горького, он уже через два года был смещен за неортодоксальный метод ведения занятий. Он нашел в себе мужество не только противиться советским цензорам, требовавшим переделки его работы о Тьнянове, но и

выступить против орденосного Шолохова.

Опытный литературовед и беспристрастный критик Корней Чуковский высоко ценил книгу Белинкова о Юрии Олеше. В кратком вступлении к главам, опубликованным в журнале «Байкал» во время подготовки книги к печати, Чуковский подчеркнул ее превосходство, как по форме, так и по содержанию, над трафаретными литературоведческими работами. Но это авторитетное мнение не смогло защитить Белинкова от травли, которой он подвергся со стороны советской прессы во главе с «Литературной газетой».

Не видя для себя на родине никакой возможности свободного творчества и ощущая нависающую над головой новую угрозу, Белинков пришел к решению покинуть Советский Союз. Такая возможность представилась в 1968 году. Летом того же года Белинков выступил по радио против притеснения духовной свободы в советской России.

В 1969 г. во время путешествия по Италии Белинков сильно пострадал в автомобильной катастрофе, происшедшей три столь подозрительных обстоятельствах, что есть все основания предполагать намеренное покушение на жизнь писателя. Но даже серьезные повреждения не помешали Белинкову принять участие в конференции, посвященной вопросам советской цензуры, организованной в Лондоне с 5 по 7 января 1970 г. Институтом по изучению СССР. Белинков присутствовал на конференции в кресле на колесах. Его выступление имело огромный успех.

Место профессора русской литературы в университете гарантировало Белинкову безбедную жизнь в Соединенных Штатах, но он искал деятельности, которой он мог бы приносить максимальную пользу своему народу.

Жизнь Белинкову досталась бурная, беспокойная, а смерть пришла тихо, незаметно, во сне... В эпоху, когда люди пробуют купить себе продление жизни при помощи пересадки чужого сердца, на одном незаменном человеческом сердце разошлись швы от старой операции...

Белинков ушел из жизни преждевременно, потому что его здоровье было подорвано перенесенными им физическими и моральными пытками и повреждениями, полученными в инсценированной «катастрофе». Он в такой же мере жертва советского режима, как его собратья по перу, расстрелянные или замученные в концлагерях.

Горько расставаться с собеседником, прервав беседу на полуслове... Но даже в его настоящем, не достигшем полного завершения виде, творчество Белинкова — значительное свидетельство. В нем прозвучал голос поколения, выигравшего Отечественную войну и проигравшего свою победу.

Александр ВАРДИ

„Россия без прикрас и умолчаний“

Книга Л. Владимиров «Россия без прикрас и умолчаний»*) вышла (с другими названиями) по-английски и по-немецки и готовится к печати на французском, испанском, шведском, японском, итальянском и голландском языках. В массовой печати ряда стран она получила высокую оценку. Это не беллетристическое произведение, а научно-популярный анализ советского строя и общества. Книга читается с неослабевающим интересом.

Коротко об авторе.

Леонид Владимирович Финкельштейн (литературный псевдоним — Владимиров) родился в 1924 году в г. Черкассы (УССР); вырос в Ленинграде, где окончил десятилетку; затем до 1947 года учился в Московском авиационном институте. В этом же году его — студента четвертого курса — арестовали и по сфабрикованному обвинению держали в ИТЛ до 1953 г.; затем освободили со снятием судимости.

После освобождения из ИТЛ Л. Владимиров окончил институт, но не авиационный, а автомеханический и до 1958 г. работал инженером. Одновременно сотрудничал в научных и научно-популярных журналах, а также писал научно-популярные книги. В 1957 г. Л. Владимиров был принят в Союз журналистов. В 1960 г. приглашен на должность заведующего отделом техники и промышленности журнала «Знание — сила». Здесь он и работал до своей туристской поездки в Лондон, где в июне 1966 г. получил право политического убежища.

Л. Владимиров — автор следующих, вышедших в Москве книг: «Дороги к незримому кладу», «Путь к нулю», «Прикосновение мага». В журнале «Москва» напечатана также его повесть «До пенсии сорок лет», которая была инсценирована московским телевидением и передавалась всеми телецентрами СССР. Эта повесть издана в Москве и по-английски.

Л. Владимиров — автор многих научных и научно-популярных статей, опубликованных в журналах «Знание — сила», «Техника молодежи», «Молодая гвардия» и других.

Теперь о книге «Россия без прикрас и умолчаний». В ней восемь глав. Название первой — «Моя большая страна».

В коротких очерках этой главы, написанных, как и вся книга, в той манере, о которой говорят: словам — тесно, а мыслям — простор», представил Л. Владимиров панораму советской общественной жизни. Он рассказал о деятельности и быте людей, живущих во многих местах СССР, имеющих различные профессии, воззрения, возраст. Он описал технологию массового идеологического программирования, которое начинается с детоких яслей. Он рассказал о технике казенного манипулирования всеми средствами воспитания, образования, информации, пропаганды и физического насилия для покушения на здравый смысл граждан СССР. Тон этой главы, как и всей книги, а также подход автора к анализу проблем общественной и личной жизни советских людей хорошо характеризует следующая выдержка:

«... Чем дольше живешь в России, тем больше привязываешься к ее людям. Они в большинстве добры душой и щедры, на редкость гостеприимны и общительны и с великолепным юмором. Другое впечатление остается у людей, побывавших в России с коротким визитом: они не успевают проникнуть в душу человеческую и ужасаются образу мыслей рядового русского гражданина Я постараюсь сейчас коротко рассказать, о чем думает, как судит и мыслит о событиях мой соотечественник» (стр. 10—11).

Это не пустая декларация. Владимиров действительно выступает в своей книге «полпредом» своих соотечественников и критиком их угнетателей — сталинцев и неосталинцев.

Заголовок второй главы: «Его величество рабочий класс».

Ссылаясь на конкретные примеры и неоспоримые факты, Л. Владимиров показывает читателю, что советский рабочий класс, как и крестьяне, один из наиболее угнетенных и бесправных. В свете материалов, представленных в книге, нельзя не согласиться с Г. В. Плехановым, М. Джиласом и др., назвавшими режим руководства КПСС «диктатурой над пролетариатом», диктатурой партийно-государственных аппаратчиков с вождем или олигархией во главе.

Л. Владимиров подробно рассказывает о жизни и бюджете семьи высококвалифицированного рабочего московского завода малолитражных автомобилей «Москвич» — Николая. Состав семьи — пять человек, из которых двое работают на упомянутом заводе. Николай принадлежит к рабочей

аристократии, к той четверти советских рабочих, которые живут в главных городах, открытых для иностранцев. Рабочие, живущие в провинции, за ту же работу получают, в среднем, вдвое меньше. Жена Николая — техник, работает в лаборатории завода, на котором трудится и ее муж.

С неоспоримыми цифрами в руках Л. Владимиров показал, что реальный заработок рабочего «аристократа» Николая «по крайней мере в десять раз меньше, чем получает американский рабочий-автомобилестроитель» (страница 53).

Л. Владимиров пишет:

«Группа советских экономистов подсчитала два года назад прожиточный минимум, необходимый человеку в Советском Союзе. Условия были взяты самые скромные: минимальная цифра калорий в пище, позволяющая поддерживать здоровье, один костюм в год, одно пальто в три года, раз в неделю кино, раз в два месяца недорогой билет в театр и так далее. Вышло, что человеку нужно, как минимум, 81 рубль 30 копеек в месяц (89 долларов). А на каждого члена семьи «богатого» Николая приходится 42 доллара в месяц. Полная ясность» (стр. 53).

Таких расчетов и точных цифровых данных в книге «Россия без прикрас и умолчаний» много, и поэтому нельзя не согласиться с выводом автора:

«У них (у рабочих СССР — А. В.) все больше митингов и все меньше шансов на нормальное человеческое существование» (стр. 88).

На митингах и на страницах советских газет все это преподносится совсем иначе. Л. Владимиров пишет:

«В официальных речах на митингах и даже на маленьких собраниях нет и следа истинного презрительного отношения к 'работягам'. Напротив, ораторы не скупились на слова, восхваляющие 'его величество рабочий класс'... А потом, после собрания, 'переводные строители коммунизма и творцы побед' возвращаются к своим станкам и вновь становятся нищими и бесправными работягами, которыми помыкают, как хотят, под прикрытием гнусных лживых фраз» (стр. 46).

В главе «Наши славные хлебоборобы» — речь идет о положении колхозников и рабочих совхозов — Л. Владимиров пишет:

«Если когда-нибудь состоится публичный суд над нынешним режимом, — сказал мне сибирский журналист, известный своими сельскими очерками, — то самыми тяжкими обвините-

*) Леонид Владимиров. Россия без прикрас и умолчаний. Издательство «Посев», Франкфурт-на-Майне, 1969, 325 стр.

лями на суде будут крестьяне» (страница 89).

В положении советского сельского хозяйства с особой наглядностью проявилась противоестественность общественной системы, созданной по надуманным схемам коммунистических путаников. Крестьяне стали по существу государственными крепостными.

Л. Владимиров пишет:

«Опять напрашивается аналогия с крепостным временем до 1861 г. . . . Порядок был абсолютно тот же» (страница 109).

Л. Владимиров показал, что «Ад, разверстый для крестьян Сталиным, продолжается по сей день» (стр. 89). Однако не только Сталин и его режим ответственны за страшную трагедию российского крестьянства. Тот, кого советская пропаганда сделала объектом шумного культа — Ленин заложил основы этой трагедии. Л. Владимиров пишет:

«... ужасы в деревне начались еще до Сталина; лавину долу ответственности за них нес Ленин» (стр. 89). «Ленин пристегнул крестьян к марксизму, объявив, что послереволюционное правительство будет 'революционно-демократической диктатурой пролетариата и крестьянства'. Пожалуй-ста, не пытайтесь постичь суть этой формулировки. Ее никто никогда толком не понимал, ее лишь послушно повторяли. Сочетание таких слов, как демократическая диктатура, равносильно фразам 'черный снег' или 'сухая вода'» (стр. 91). «Вероятно, сам Ленин понимал, что подобная политика по отношению к крестьянам — просто-напросто высасывание соков, обыкновенный грабеж» (стр. 92). «Гений-дилетант отошел в лучший мир, заложив прочную основу перманентного голода в России» (стр. 96).

Не удивительно, что и сейчас почти половина населения СССР, занятая в сельском хозяйстве, почти полвека не в состоянии прокормить себя и горожан. Вспомним для сравнения, что приблизительно 70% населения США, занятая в сельском хозяйстве, не только полностью обеспечивает свою страну сельскохозяйственными товарами, но еще и кормит чуть ли не треть человечества. Л. Владимиров пишет:

«За 37 лет существования, колхозный строй убедительно доказал свою полную неэффективность и принес стране колоссальный вред. Производительность колхозного труда ничтожна, взаимоотношения между крестьянами подозрительны и злобны, колхозные руководители, всегда назначаемые 'сверху', окружены ненавистью. Колхозы существуют вопреки воле их членов, они находятся в полном противоречии с желаниями, чувствами, со всей психологией крестьянина» (страницы 115—116).

Таков хорошо обоснованный вывод Л. Владимиров.

В главе «Опасная наука» Леонид Владимиров рассказал не только о драме научных идей в Советском Союзе, но и о трагедии советских ученых. Ведь до сих пор начальство сферы наук укладывает научное творчество на прокрустово ложе партийности науки и расценивает научные открытия на основании догм несостоятельного диалектического материализма. До сих пор более половины научных исследований засекречено. Тысячи ученых вынуждены жить и работать в спецпоселках, в засекреченных так называемых номерных городах, которых не найти на географических картах. В этих позолоченных клетках ученые фактически изолированы от мира.

Конечно, даже в условиях такого административного прикрепления ученых легче, чем в годы сталинщины. Ведь в те годы даже такие новаторы, как главный конструктор ракет Королев, главный авиаконструктор Тулопов, изобретатель прямооточного парового котла Рамзин, отец советской генетики Вавилов, крупнейший советский физик-теоретик Ландау и многие, многие другие были заключенными в тюрьмы, лагерей и спецтюрем — «шарашек», как их прозвали ученые узники. Академик Капица почти пять лет был под домашним арестом. Отец советской атомной бомбы академик Харитон чудом избежал участи арестанта. Он был одним из двухсот назначенных к ликвидации крупнейших ученых Советского Союза, включенных в список ученых-космополитов, поданный в 1949 году Сталину для санкции репрессий. В списке были также академики: Ландау, Иоффе, Векслер, Зельдович, Фрумкин, Тамм, Гинсбург и многие другие. Только успех испытания советской атомной бомбы спас им жизнь. Сталин смягчился: приказал не арестовывать этих так называемых космополитов. Ученых других, не военных отраслей знания Сталин и сталинцы не пощадили. Тысячи блистательнейших умов России погибли в лагерях или стали там инвалидами. Сталин и сталинцы не доверяли ученым. Правители были убеждены, что все истинные ученые — крамольники, западники, космополиты.

Л. Владимиров пишет:

«Человек науки, по характеру своей деятельности, привыкает логически анализировать любую ситуацию. А логический анализ современной советской действительности автоматически делает вас противником режима... Кроме этой общей причины есть и другие — более частные. Прежде всего усиливаются расхождения между фундаментальными научными теориями и диалектическим материализмом. Поэтому, как любил говорить

мне знакомый физик, науки в СССР развиваются 'не благодаря, а вопреки' — то есть не только без философской поддержки, но и с постоянной необходимостью преодолевать официальное философское и административное сопротивление» (стр. 131, 132).

В этом основа той объективной и квалифицированной оценки положения советской науки и людей науки, которую дал Владимиров. Он убедительно доказал, что вопреки тому, что постоянно утверждает пропаганда руководства КПСС, советский режим тормозил и тормозит всестороннее развитие советской науки и техники, тормозит всестороннее развитие производительных сил страны. Ведь только по команде руководства КПСС десятки лет была под запретом теория относительности и весь связанный с ней огромный комплекс научно-технических проблем во всем теоретическом естествознании и в новейшей технике.

Под запретом были также квантовая механика, кибернетика, теория резонанса, генетика, молекулярная биология, парапсихология, психоанализ и вообще современная психология, бионика и так далее. Развивались только те отрасли наук и техники, которые нужны руководителям КПСС для укрепления их власти, для военных целей и для поставок вооружения экстремистам-тоталитаристам во всем мире. Но даже и в этих отраслях знания и техники советские ученые были вынуждены пользоваться в основном тем, что открывали западные ученые. Авторитетное свидетельство об этом опубликовал отец советской водородной бомбы академик Сахаров в своей брошюре «Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе».

Название следующей главы книги Л. Владимиров: «Творцы подспудных перемен». Это цитата из стихотворения одного из даровитых поэтов России Евгения Евтушенко. Творцами подспудных перемен он назвал поэтов, писателей, художников, несущих людям правду.

«А правда, — пишет Леонид Владимиров, — она в России нарасхват, на нее страшный голод во всех без исключения слоях общества. Стихи с точными, ясными намеками, а в последнее время и политически острые песни, утоляют этот голод... Правда пробивает себе дорогу сквозь тяжелый мертвящий камень бюрократии — пробивает с помощью искусства и литературы... Поэты отлично знают, что 'покуда над стихами плачут, то превозносят, то поносят, покуда их, как хлеба просят', иными словами до тех пор, пока стихи ведут борьбу, а не только услаждают слух, популярность поэзии будет расти. В России

нет сегодня ни одного значительного поэта — ни одного! — который стоял бы в стороне от борьбы» (стр. 163).

Леонид Владимиров не назвал фамилии наиболее популярных поэтов и писателей — тех, кто пишет не для советской печати, а для народа, но он назвал фамилии карьеристов, подхалимов, бездарных доносчиков и клеветников, подвизающихся в советской литературе и осуществляющих административное руководство литераторами.

Леонид Владимиров рассказал о роли, которую играют в удушении подлинно великой современной русской литературы такие ее гонители, как М. Шолохов, Анатолий Сафронов, Л. Соболев, Ю. Барабаш, Н. Грибачев, В. Кочетов, Фирсов, Василий и Сергей Смирновы, Михаил Алексеев, А. Чаковский, Михалков, Г. Марков, Тевекелян, Сартаков, Стариков, Рюриков, Немцов, Я. Эльсберг, С. Баруздин, В. Шапошников, Аркадий Васильев, Самарин, Полторацкий, Шевцов, З. Кедрина, Дмитрий Еремин и другие надзиратели советского литературного фронта, инициаторы и участники фабрикации дутых дел против честных литераторов.

Что побуждает этих людей вести так называемую «борьбу за партийность литературы»? Иными словами: почему они занимаются клеветническими доносами и разносами, травлей подлинно-талантливых литераторов? Ведь эти надзиратели лифронтов не могут не знать, что этой своей деятельностью они обрекают себя на презрение порядочных людей России и не только России. Вот как отвечает на этот вопрос Леонид Владимиров:

«Казалось бы — писатели же вы, ну и пишите, доказывайте право на существование социалистического реализма вашими произведениями! Но в том-то и секрет, что этот самый социалистический реализм совершенно бесплоден и произведения названных мною людей (и подобных им не названных) предельно пошлы и убоги. Магазины завалены их книгами — их приказывают издавать — а семисоттысячный тираж повести Солженицына был распродан в стране за два часа... Как же бороться за существование этим правоверным 'беднягам', как сохранить доходные писательские 'должности', дачи, автомашины и прочие блага? Очевидно только одним путем: устранением более талантливых и популярных конкурентов» (стр. 175). «Есть, конечно, и другие причины. Например, многие так называемые писатели в сталинские годы работали агентами тайной полиции, доносили, клеветали на собратьев по перу. Эти люди смертельно боятся каждого свежего ветерка в политике и литературе...» (стр. 176).

Несмотря на кипучую неблагоприятную деятельность упомянутых соци-

реалистов и их пособников «именно сегодня, — пишет Леонид Владимиров, — именно сегодня, в обстановке травли и гонений, арестов и ссылок, тайных судилищ и отправок в сумасшедшие дома — именно сегодня поднимается в России большая литература... Я имею в виду романы, рассказы и стихи, которые либо еще не изданы типографским способом, либо изданы только на Западе... Никто не сомневается, что рано или поздно они сметут с книжных полок все творения» (стр. 178) охранителей верноподданнического соцреализма, то есть «прославления вождей средствами, доступными их пониманию» (стр. 178).

Живо и увлекательно, с большим числом примеров, свидетельствующих о знании т. н. подноготной, рассказал Л. Владимиров и о людях кино, живописи и театра, об их жизни, работе и борьбе с казенной косностью, реакционностью, бесчеловечностью.

Л. Владимиров изложил в своей книге содержание нескольких блестящих литературных произведений, ротаторные оттиски которых передаются в СССР из рук в руки. Сообщил он и о популярных нелегальных и полунелегальных стихах, поэмах и песнях, которые поет сейчас Россия.

«Россия поет, — пишет Владимиров; — Россия поет. И слушает. И думает. И происходят в ней перемены — те самые страшные для диктаторов подспудные перемены, которые десять лет назад интуитивно предсказал Евгений Евтушенко» (стр. 218).

Заголовок шестой главы: «Журналисты — подручные партии». Л. Владимиров описал в ней механику дезинформации советских читателей, радиослушателей и телезрителей. Он рассказал об учреждениях и людях, командующих средствами массовой информации и пропаганды, в том числе о цензуре. На конкретных примерах показал Владимиров явную лживость многих сообщений, публикуемых средствами массовой информации Советского Союза. Он привел конкретные примеры того, как на основе лживой и извращенной информации пропагандисты фабрикуют демагогическую, с позволения сказать, «духовную пищу». Иногда они невольно облачают преступления своих хозяев. Вот один из примеров такой «медвежьей услуги». Л. Владимиров рассказывает:

«В январе 1962 года в Таллине состоялся суд над гитлеровскими пособниками, участниками расправ над мирным населением в военные годы. Журнал 'Социалистическая законность' — орган прокуратуры СССР — решил дать отчет о процессе. Но как это сделать? Если послать корреспондента на процесс, то отчет появится только в апрельском номере... Редактор журнала решил послать своего

корреспондента к прокурору Эстонии в ноябре — за два месяца до суда... Прокурор охотно дал журналисту не только текст своей будущей речи, но и текст заранее составленного приговора... Суд начался 16 января, а журнал 'Социалистическая законность' с текстом речи прокурора и приговором был получен подписчиками за день до начала суда — 15 января 1962 года, так что люди входили в зал суда до того, как он начался, с публикацией смертного приговора и с сообщением о единодушном одобрении приговора публикой» (стр. 229, 230).

Таково лицо так называемого правосудия в Советском Союзе.

Еще один интересный факт из журналистских буден. Л. Владимиров приводит запись своего обычного служебного разговора с цензором Галиной Леонтьевной Кировой.

«Вот эту цифру придется снять, — сказала мне женщина-цензор в июне 1966 года.

Она обвела красным карандашом число, показывающее диаметр земного шара.

— Как, Галина Леонтьевна, разве и это секрет?

— Есть прямое указание не публиковать точных размеров планеты, — отрезала цензор.

— Но, простите, — недоумевал я. — Тут наверно что-то не так. Автор статьи взял диаметр земли из американского географического журнала. От кого же секрет?

Галина Леонтьевна Кирова досадливо поморщилась.

— Честное слово, Леонид Владимирович, мы зря теряем время. Я же сказала: есть прямое указание, что же тут обсуждать?» (стр. 237).

Удивительно ли после этого, что, как пишет Владимиров:

«Русский журналист постоянно воспринимает одной своей стороной факты жизни, а другой стороной выдает часть этих фактов в газету в трансформированном намеренно «исправленном» виде.

Резкое несовпадение этих сторон одной личности, постоянная необходимость одно утаивать, а о другом писать неправду, как легко понять, не способствует развитию порядочности, честности, искренности, правдивости, принципиальности. Зато вместо них бурно развивается цинизм» (стр. 226).

И еще о советских журналистах: «... Среди русских журналистов есть и типичные партийные чиновники, и абсолютно беспринципные карьеристы и опасные негодяи, сотрудничающие с секретной полицией. Таких особенно много в ТАСС, в агентстве 'Новости' и почему-то на радио. Однако не они составляют большинство. Девять из десяти сотрудников советской прессы по меньшей мере недовольны тем, что им приходится ежедневно лгать за плату» (стр. 261).

Заголовок предпоследней, седьмой главы — «Дружба народов».

Ссылаясь на многочисленные общеизвестные факты, Л. Владимиров доказывает, что, маскируясь лозунгами о дружбе народов, руководители КПСС осуществляют политику великодержавного шовинизма и стравливания наций.

Л. Владимиров пишет:

«Когда Никита Хрущев с трибуны двадцатого и двадцать второго съездов Коммунистической партии предавал анафеме Сталина, он упоминал и о тюрьмах, и о пытках и о казнях. Но одну тему он обошел гробовым молчанием: сталинскую национальную политику и связанные с ней преступления».

На то были у него по крайней мере две причины. Первая была в том, что признать советский национализм — значило окончательно поставить знак равенства между СССР и гитлеровской Германией. Вторая причина, быть может, главная из двух: Хрущеву хотелось приберечь сталинскую 'дружбу народов' для собственного дальнейшего употребления. Ведь национальная рознь, искусно направляемая, с давних пор служила 'предохранительным клапаном' против народного недовольства... Сталин широко открыл этот клапан в России второй половины сороковых — начала пятидесятых годов: страна была нищей, голодной, злой — надо было дать злобе хоть какую-то разрядку» (стр. 267, 268).

К сожалению, сталинский национализм и геноцид не исчезли после Сталина и Хрущева. По-прежнему не восстановлены республика немцев Поволжья и Крымская АССР. Около двух миллионов немцев — в ссылке, как и крымские татары. Эти нации, и не только эти, денационализируют, рассеивают, атомизируют, насильственно ассимилируют. Такая же политика проводится по отношению к трем миллионам евреев, к китайцам и корейцам, выселенным с Дальнего Востока, к туркам и иранцам, выселенным с Закавказья, к административно прикрепленным в отдаленных краях эстонцам, латышам, литовцам, цыганам, карачаевцам, калмыкам, чеченцам, ингушам, задержанным там, куда, как говорят, «ворон костей не заносит».

Денационализация и насильственная ассимиляция проводятся методами принуждения, морального давления, лишения людей их родины, их культурных и образовательных учреждений, их литературы, печати, радио и так далее.

Удивляться этому не приходится. Спекуляцией шовинизмом правители СССР пытаются привлечь на свою сторону полонки. Эти правители знают, что их режим, сделавший основой своей внутренней политики стремление отнять у людей все, что хоть сколько-нибудь уменьшает зависи-

мость человека от начальства, не может быть популярным. Поэтому-то, стремясь расширить свою политическую базу, этот режим пытается привлечь к себе наиболее аморальные элементы путем нацистской пропаганды, разжигания национальной розни, возбуждения племенных инстинктов. Для реализации такой политики режим прибегает к помощи таких гитлеровских преступников, как Трофим Кичко.

Л. Владимиров обстоятельно анализирует проблемы, связанные с официальным, то есть инспирируемым «сверху» антисемитизмом. Однако, как пишет Владимиров, все большее число людей, особенно молодых, менее развращенных режимом, понимает гнусность сталинского-неосталинского национализма и борются с ним. Владимиров пишет:

«Шовинизм стал символом сталинщины, хрущевщины в глазах молодых людей... Сталкиваясь с официальной дискриминацией нацменьшинств, русская молодежь все сильнее ненавидит чиновников-шовинистов» (стр. 277).

Теперь о последней, восьмой главе книги. Заголовок этой главы — «Россия в дрейфе». Автор анализирует в ней общественные устои, на которых стоит власть руководства КПСС, и коротко обсуждает возможные перспективы России. Он начинает с концентрированной характеристики положения народа.

«Идеологическая основа режима, — пишет Владимиров, — движение к грядущему коммунизму. Но в наступление коммунизма, этого земногорая, не верит больше никто... Но, если коммунизма не предвидится, то это значит, что прошедшие мучительные 50 лет были просто ни к чему. Десятки миллионов жертв во имя коммунизма — это страшно, однако хоть как-то объяснимо. Десятки миллионов жертв без цели — это катастрофа, и строй, допустивший это, должен распаться...»

Между тем, принесение жертв продолжается. Народные массы живут в нищете, движение людей — даже внутри страны, не говоря о поездках за границу — ограничено жесткими полицейскими мерами, законы свирепы, печать и литература за малыми исключениями скучны, развлечения скудны, работа тяжела, жилища тесны и примитивны. Между жизнью советского рабочего или крестьянина и жизнью рабочего и фермера любой западной страны — гигантская пропасть. Почему же все это держится год за годом?» (стр. 288, 289).

Этот вопрос задают сейчас друг другу многие в России. Л. Владимиров пишет:

«Люди теперь подолгу и с некоторым удивлением обсуждают между собой такой вопрос: почему этот ре-

жим держится в стране полвека, сколько он еще продержится и каким образом переменится?» (страницы 287, 288)...

«Первая причина продолжающегося существования режима — насилие... Затем — пропаганда. Головы людей постоянно забиваются... теориями о неизбежности данного сегодняшнего исторического этапа, об обреченности капитализма и т. п... Надо повторять не раздумывая, и это бесконечное повторение отнимает у людей способность мыслить самостоятельно... Следующая причина того, что режим в России все держится — невозможность прямых сравнений. Житель страны отрезан от мира... Режим держится и потому, что люди в России не знают, чем его можно заменить... Наконец... внутреннее убеждение, что у нас на Руси иначе и быть не может» (стр. 289—290).

В результате стабилизировался режим, о лидерах которого Л. Владимиров пишет:

«... лидеры КПСС намного лицемернее нацистов. Те выражали свои лободские стремления с примитивной откровенностью, чем отталкивали либералов; эти применяют фразеологию, на которую все левые клюют, как рыба на жирного червяка — мир, труд, свобода, равенство, братство, счастье. Не уподобляйтесь же рыбе, господа, червяк насажен на смертоносный крючок!» (стр. 312, 313).

Заканчивая книгу, Л. Владимиров пишет:

«Я сумел, надеюсь, показать в этом разделе, что изменения в России все-таки происходят, что они имеют известную закономерность и в целом, если не учитывать волнистость, зигзагообразность развития, дрейф идет в сторону либерализма» (стр. 301).

... «Миллионы русских уже чувствуют инстинктивно: центральная власть в стране ежедневно и непрерывно слабеет...» «Чем же это кончится? На это можно дать довольно определенный ответ. Диктаторская власть в России вступила в свой последний период — в период заката. Она либо распадется, либо переродится — по югославокому или какому-нибудь другому образцу. И для этого не нужно ни войны, ни иного катаклизма... Оружие, которого еще не хватает народу — правда; правда о мире, о режиме в стране, о себе самом. Слабеющая власть уже сейчас не может остановить проникновение в страну правды — еще менее успешно сможет она делать это в дальнейшем. И дрейф России кончится выходом в открытый океан свободы. Когда? Как? О если бы знать!» (стр. 325).

Только с одной второстепенной, в общем контексте, мыслью автора нельзя, по моему мнению, согласиться. Он пишет:

«В период сталинской индустриализации в тридцатые годы развитию советской промышленности помогали два мощных фактора — энтузиазм и страх. Энтузиазм подогревали участники революции 1917 года» (стр. 71).

Сколько было таких энтузиастов-идеалистов? И где они проявляли свой энтузиазм? Их была ничтожная горстка, распыленных по наркоматам и другим аппаратам. Там они действительно переплавляли распиривший их энтузиазм в сотрясение воздуха и потоки бумаг. Но какое это имело значение для стройки советских пирамид? На этих стройках царил страх и именно он был главной направляющей силой ужаса сталинской эпохи.

Книга «Россия без прикрас и умолчаний» — важный вклад в советоведение.

ПОСЕЩЕНИЕ ИЕРУСАЛИМА МИТРОПОЛИТОМ ФИЛАРЕТОМ

Первоиерарх Русской Зарубежной Церкви, Высокопреосвященнейший Митрополит Филарет (пребывающий в Нью-Йорке), 30 апреля прибыл на аэродром Тель-Авива в сопровождении Архиепископа Вашингтонского и Флоридского Никона, заведующего Отделом Внешних Сношений Зарубежной Церкви — протопресвитера Георгия Граббе, архимандрита Иннокентия и двух диаконов. На аэродроме Митрополит был встречен представителем Израильского правительства — Директором Отдела Христианских Исповеданий д-ром Кольби, духовенством Русской Духовной Миссии (подлежащей ведению Зарубежной Церкви), представителями греческого духовенства, игумениями и монахинями русских женских монастырей. После приветственных речей и предложенного представителем правительства чая, Митрополит со своей свитой отбыл в Иерусалим, в русский женский монастырь на Елеоне, откуда, после торжественной встречи, отбыл в русскую женскую обитель в Гефсиманию.

На следующий день Митрополит посетил так называемые «Русские раскопки» в Александровском Подворье, где находится административный центр Русской Духовной Миссии и Православного Палестинского Общества, после чего посетил храм Воскресения и Гроб Господень. Здесь он был встречен Великим Скевофилаксом и Хранителем Гроба Господня, греческим архимандритом Даниилом, который сопровождал его по всем святым местам храма.

2 мая Митрополит со своей свитой посетил Вифлием, а затем, в сопровождении своей свиты, Начальника

Миссии архимандрита Антония (Граббе) и прибывшего из США князя Т. К. Багратиона (представителя Палестинского О-ва в США) посетил греческого Патриарха Иерусалимского Венедикта. На приеме присутствовали Наместник Патриарха Архиепископ Германос и Главный Секретарь Синода архиеп. Василий. Прием носил чрезвычайно сердечный характер. Патриарх приветствовал Митрополита Филарета на Св. Земле и пожелал ему благополучного пребывания.

3 мая, после посещения других исторических святых мест, Митрополит с сопровождавшими его лицами посетил Министра Исповеданий. Беседа носила самый дружественный характер. После этого Митрополит посетил Мэра (городского голову) города Иерусалима, который пожелал принять Митрополита в здании исторического музея, и, после официального кофе, лично показал весь музей и давал объяснения.

В последующие дни Митрополит посетил Вифанию и устроенную там школу, монастырь преп. Харитона, Назарет, Севастию, Генисаретское озеро и реку Иордан, гору Фавор, Хеврон с дубом Мамврийским и Лавру св. Саввы Освященного.

За время своего пребывания на Святой Земле, Митрополит неоднократно служил в русских монастырях и церквях и причащался за греческой службой у Гроба Господня и на Голгофе.

8 мая Митрополит со своей свитой сделал прощальный визит Патриарху, который подарил Митрополиту панягию с изображением иконы Знамяния, а протопресвитеру Г. Граббе — наперсный крест.

9 мая Митрополит, в сопровождении своего диакона Никиты Чарикова, отбыл на Тель-Авивский аэродром для отбытия в Европу. Владыку провожали представители духовенства и сестер Елеонской и Гефсиманской обителей.

Из Палестины Митрополит направился в Италию, в Бари, где недавно русский храм, находившийся после 2 мировой войны в ведении парижского экзархата архиеп. Георгия, перешел снова в ведение Зарубежной Церкви. В самый праздник перенесения мощей св. Николая (находящихся в местном католическом соборе), Митрополит служил молебен у мощей; католическое духовенство предложило Митрополиту самому вынуть миро от мощей — что является редчайшим исключением.

Из Бари Митрополит отбыл в Рим, где посетил исторические места и катакомбы. В соборе св. Петра Митрополит был пропущен к самой гробнице св. апостола Петра, находящейся глубоко под собором. Посещение Рима носило частный характер. Из Рима Митрополит отбыл в Западную Германию, в Мюнхен, куда прибыл 23 мая.

Х Р О Н И К А ЗАРУБЕЖНОЙ ЖИЗНИ

● В апреле текущего года нью-йоркская газета «Новое Русское Слово» отмечала 60-летний юбилей своего существования. Газета была основана в 1910 году, когда в Америке почти не было постоянно живущей там русской интеллигенции. Первым редактором был И. К. Ожунцов, издателем — В. И. Шимкин, который более 50 лет издавал эту газету. С 1914 по 1917 г., с 1922 года по нынешний день (т. е. вот уже 42 года) редактирует газету М. Е. Вейнбаум. Эта газета является старейшей русской газетой, выходящей 60 лет без перерыва (советская «Правда» начала выходить немного позже, чем «Новое Русское Слово»). После 1-ой мировой войны в «Новом Русском Слове» писали, между прочим, такие крупные русские писатели, как И. Бунин, М. Алданов, А. Ремизов, Н. Тэффи и др., а также некоторые бывшие сотрудники крупнейших русских дореволюционных газет, как напр., А. А. Поляков, недавно праздновавший свое 90-летие, бывш. сотрудник московского «Русского Слова».

● Кабраматта (Австралия). 5 апреля состоялся духовный концерт местного церковного хора под управлением Ана-

толия Коробко. Программа была составлена из произведений Архангельского, Бабайлова (проживает в Австралии), Бортиянского, Беляева, Веделя, Зайцева, Никольского, Троицкого (проживает в Австралии), Чеснокова и др. и была посвящена песнопениям двенадцатых праздников. Концерт устраивало Русское музыкальное объединение в Кабраматте.

● Рочестер (США). Между 31 марта и 3 апреля 1970 г. в г. Рочестер (Н.-Й.) состоялся международный философский конгресс, посвященный Канту. На этом конгрессе др. В. А. Пирожкова (Мюнхен) сделала доклад «Кант и Маркс в интерпретации некоторых русских философов». 5 апреля В. А. Пирожкова сделала доклад в приходе церкви Св. Серафима о некоторых аспектах в философии Булгакова и Струве.

● Ряд русских объединений отмечал в мае пятидесятилетнюю годовщину принятия должности главнокомандующего русской армией, генерал-лейтенанта барона Петра Николаевича Врангеля (Севастополь, 1920 г.).

● По распоряжению Архиерейского Синода Русской Зарубежной Церкви, 29 марта, во всех церквях этой юрисдикции, была провозглашена анафема (отлучение от церкви) Ленина, как воинствующего атеиста, преследователя всякой религии и проповедника террора. Провозглашение анафемы в этом году было предписано в связи с организованным ООН чествованием 100-летия рождения Ленина, провозглашенного, вопреки проведению им террору, «гуманистом». При этом нужно заметить, что, вопреки общепринятому мнению, «анафема» не есть проклятие, а означает *отлучение*, т. е. открытое формальное объявление, что данное лицо выключено из членов Церкви (греческое слово «анафема» означает: отложение в сторону, исключение из чего-либо, отлучение, но не проклятие). Странным было бы продолжать считать Ленина православным христианином, когда он и на словах, и на деле показал себя решительным врагом какой бы то ни было религии и жестоко преследовал ее во всех ее проявлениях.

● Париж. 12 апреля состоялся 4-й концерт учеников Русской Консерватории имени С. В. Рахманинова. Выступали ученики проф. Е. Савицкой: Сергеенко, Ру де Безье, Гольденберг, Э. Адам и Т. Сабер. Аккомпанировал проф. И. М. Сухова. Выступали также ученики и ученицы проф. С. Яковлева (пение), проф. Е. Лушиной, представившей как начинающих певцов М. Пешв и Е. Попову, и почти законченных артистов с прекрасными голосами: Свободу-Михайлову, К. Первишену и А. Михайлова. Кроме того выступали и другие ученики и ученицы, по классу других профессоров, показавшие отличные успехи.

● 16, 17 и 18 мая в Бьевре (около Парижа) состоялся съезд русской молодежи из разных стран Европы. С докладами выступали: М. Соллогуб, Б. Филиппенко, о. Афанасий Евтич, о. Александр Шмеман, о. Илия Мелия, о. Александр Князев и другие.

● Сиракузы (США). 27 марта, в зале Св.-Андреаской школы, состоялся литературный вечер по случаю исполнившегося в 1969 г. 200-летия рождения баснописца И. А. Крылова. В. И. Бондаренко сказал вступительное слово на тему «Басни Крылова и современность», после чего было чтение басен Крылова в лицах в исполнении представителей местной русской молодежи, показавшей хорошее знание русского языка, что, несомненно, поможет ей глубже воспринять богатство русской словесности.

● 24 мая в Париже, в помещении при Александро-Невском соборе на рю Дарю, состоялось открытое собрание Общества Любителей Церковного Пения. Диакон И. Васильев прочитал краткую биографию деятельности скончавшегося два года назад регента собора, П. В. Спасского, после чего состоялся доклад А. А. Филатьева на тему: А. Кастальский как духовный композитор. Последний доклад сопровождался музыкальными иллюстрациями.

● Русским молодежным хором в Париже под управлением Е. И. Евецца напеты две грампластинки с церковными песнопениями. Хор православного Богословского Института в Париже, под управлением Н. М. Осоргина, тоже напел одну пластинку. Выход в свет этих пластинок ожидается в конце лета или в начале осени текущего года.

● Париж. Обществом русских паломников на Святую Землю была устроена 5 апреля, в помещении католического прихода Сен-Ламбера, демонстрация цветного фильма «Святая Земля», привлекающая «весь русский Париж». Фильм изготовлен инженером Николаем Петровичем Спасским. Впервые фильм этот был продемонстрирован зимой этого года в Брюсселе. Фильм сопровождался звуковой записью, как с грампластинки пластинок, так и оригинальными записями на магнитофонную ленту, сделанными на месте, во время паломничества. Перед зрителями на экране прошли Иерусалим, Вифлеем, Назарет, Генисаретское озеро, Фавор, Дуб Мамврийский в Хевроне, Лавра Св. Саввы Освященного, Гефсимания и другие места Палестины, связанные с евангельской историей. В соответствующих местах звуковая иллюстрация воспроизводила церковные песнопения, имеющие отношение к событиям, связанным с данным местом. Фильм произвел на всех очень сильное впечатление.

● Филадельфия (США). 5 апреля обществом «Беседа» был устроен доклад С. Л. Войцеховского на тему: Современная Россия по впечатлениям туристов. Докладчик суммировал сведения о жизни в СССР, сообщенные, главным образом, хорошо знающими русский язык молодыми иностранцами, видевшими СССР впервые и не имевшими возможности сравнить современное положение там с дореволюционной Россией. Они рисуют удручающую картину того быта, на который обречен коммунистической диктатурой русский народ.

● Торонто (Канада). Успешно прошло февральское национальное соревнование-смотр талантов классической музыки, организованный ревнителями классической музыки в поисках талантов среди школьной молодежи. Среди большого числа учеников консерватории, отличившихся на соревновании, следует отметить русского мальчика, 12-летнего Витю Алексева, прекрасно исполнившего на рояли произведения мировых классиков и русских композиторов, за что и награжден тремя золотыми медалями и стипендией для продолжения музыкального образования в консерватории. Его 10-летний брат Павел отличился игрой на классической гитаре и получил серебряную медаль.

● 2 октября 1969 г. в Штутгарте, в возрасте 89 лет скончался профессор Иван Пименович Четвериков, бывший еще до революции профессором Киевской Духовной Академии. После второй мировой войны И. П. Четвериков читал лекции в Парижской Богословской Академии.

● В Нью-Йорке, 9 марта с. г. скончался на 84 году жизни профессор Николай Сергеевич Тимашев. Покойный был крупным ученым юристом-социологом. До 1921 г. он был ординарным профессором Политического Института в Петрограде, с 1921 г. — профессором Пражского университета, затем читал лекции на русском отделении Парижского университета. С 1936 г. он был профессором социологии Фордхэмского университета в Нью-Йорке. В 1965 г., в связи с 50-летним юбилеем научной работы Н. С. Тимашева, Обществом Друзей Русской Культуры в Нью-Йорке был издан том статей с биографией и библиографией юбиляра.

● 11 июня в Нью-Йорке на 89 году жизни скончался последний премьер-министр России Александр Федорович Керенский.

● Брюссель. «Ленинские дни» были отмечены русской эмигрантской колонией, Комитетом Русских общественных организаций, устроенным 19 апреля, в зале Бриальмон, докладом прибывшего из Парижа проф. М. В. Гардера. В своем блестящем докладе докладчик упомянул некоторые неизвестные для многих данные, как, например, о том, что Ленин издавна пользовался денежной поддержкой враждебных России иностранных разведок: японской — во время японской войны, австрийской — перед войной 1914 года и германской — во время первой мировой войны.

● Мюнхен. 28 мая в Русской библиотеке имени Л. Стивенса состоялся литературный вечер, посвященный поэзии Д. И. Кленовского. Со вступительным словом выступил А. Н. Неймирок, стихи читали: Ю. М. Готовчиков, В. А. Древинг, Г. Н. Митина, Л. И. Пятаевский и В. Г. Семенов. Вечер собрал многочисленную публику и имел большой успех.

● Париж. 27 мая состоялся духовный концерт большого молодежного русского хора под управлением известного регента Е. И. Евецца. Концерт состоялся в храме С.-Филипп де Руль. Чистый сбор предназначен в пользу ремонта Александроневского собора в Париже.

● Париж. 31 мая в зале Дебюсси-Плейель состоялся юбилейный оперный концерт по случаю 50-летней артистической деятельности баритона европейских оперных театров З. Н. Дольницкого. В концерте приняли участие г-жи Г. Веласкуэс, Н. Копьева, Э. Тарга и гг. К. Барсов и Г. Лепенти. У рояля: г-жа М. Гаскэ и проф. И. Сухов. В программе — произведения Бизе, Доницетти, Гуно, Массне, Моцарта, Пуччини, Рубинштейна, Чайковского, Вагнера и Верди.

● Париж. 29 мая состоялся в помещении американской церкви духовный концерт хора имени Чайковского, под управлением Галины Григорьевой. Доход от концерта предназначен в пользу русской Обители Св. Марии Магдалины в Гефсимании.

Редактирует коллегия
Редактор В. Сорокин
Секретарь редакции А. Желнин

Перепечатка разрешается,
но с указанием источника.

Адрес редакции:

SARUBESCHIE
8 München 86
Postfach 860327
Bundesrepublik Deutschland

Банковский счет № 30 / 90 246
Банк: Neuvians, Reuschel & Co.
8 München 80, Ismaningerstr. 98

Verantwortlich für den Inhalt
V. Sorokin

Druck: „Logos“, München 19, Bothmerstr. 14